

ИРКУТСКОЕ ВРЕМЯ

*АЛЪМАНАХ
ПОЭЗИИ*



*Иркутск
2009*

УДК 821.161.1
ББК 84(2=Рус)7
И 81

Издательский проект
Иркутского отделения Союза российских писателей

Художник Сергей Григорьев

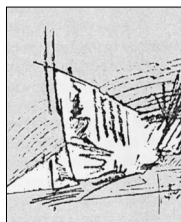
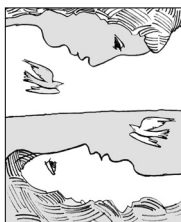
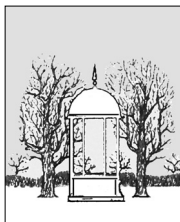
И 81 Иркутское время: Альманах поэзии. 2009. —
Иркутск, 2009. — 244 с.

© Иркутское отделение
Союза российских писателей, 2009
© Коллектив авторов, 2009
© Григорьев С. М., оформление, 2009

Harato



ИРКУТСКОЕ
ВРЕМЯ







Вопреки всему

От составителя

Оно неизбежно придёт – Иркутское время. Через год, через два, как в случае с выпуском данного альманаха, через десятилетие – но обязательно придёт. Потому что время – это люди. Большие и маленькие, умные и глупые, порядочные и вороватые, серьёзные и смешные... И пока они есть – жизнь продолжается.

Восьмой фестиваль поэзии на Байкале, можно сказать, состоялся. Вернее, состоялось празднование 75-летия нашего всемирно известного земляка Евгения Александровича Евтушенко. Другие заявленные мероприятия провести не удалось. *Кризис*. Кризис – банковский и производственный, кризис – в душах... Кризис совести. Кризис надежд. Кризис иллюзий.

Нас всех ждут трудные времена. Но именно когда плохо, человек начинает пристальней вглядываться в то, что не подвержено тлению, пытаясь найти ответы на мучающие его вопросы. Именно тогда для поэзии наступают благоприятные времена. В своей Нобелевской лекции, наверное, самый важный поэт из завершающих XX век Иосиф Бродский говорил: «Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную – но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке.

Произведения искусства, литературы в особенности и стихотворение в частности обращаются к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения. За это-то и недолюбливают искусство вообще, литературу в особенности и поэзию в частности ревнители всеобщего блага, повелители масс, глашатаи исторической необходимости. Ибо там, где прошло искусство, где прочитано стихотворение, они обнаруживают на месте ожидаемого согласия и единодушия – равнодушие и разногласие, на месте решимости к действию – невнимание и безразличность».

Итак, альманах «Иркутское время-2009». К сожалению, никак не удастся обойтись без раздела «Мемориал». Посмотрим на список последних потерь: 2006 год – Анатолий Кобенков, 2007 год – Андрей Тимченков, 2008 год – Анатолий Преловский... Анатолий Васильевич Преловский, скончавшийся в Москве на 75-ом году жизни – иркутский писатель. Давно москвич по месту проживания, но иркутянин, сибиряк – по душе и вдохновению. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, лауреат Государственной премии СССР. Уходят люди, уходят эпохи, но поэзия пребудет вечно.

Два слова о принципах составления альманаха, который Вы держите в руках. Хождения по книжным магазинам Иркутска и окрестностей в поисках поэтических новинок убедили меня в том, что появление таковых на наших прилавках носит спорадический характер. Современная русская поэзия, по мнению книготорговцев, исчерпывается именами Асадова, Губермана, Рубальской, Талькова, Филатова и ещё двух-трех иных. Как будто отсутствуют более двух десятков прекрасных поэтов – гостей и участников предыдущих фестивалей поэзии на Байкале, как будто нет в русской поэзии Лосева и Цветкова, Гандельсмана и Седаковой, Каневского и Ватутиной... Печальное зрелище, не делающее чести городу, претендующему на звание культурной столицы Восточной Сибири! Частично исправить ситуацию призвано



настоящее издание, в котором опубликованы большие подборки гостей девятого фестиваля, чьи имена вынесены на обложку. И ещё одно новшество. Альманах, вопреки традиции, издаётся заблаговременно, с тем, чтобы ко дню открытия фестиваля (12 июля) как можно больше жителей области познакомились с творчеством замечательных современных русских поэтов, собирающихся к нам в гости (раздел «Новый фестиваль»).

Ещё один традиционный раздел альманаха «Переключка» – стихи поэтов, живущих по «иркутскому времени». Начнём с дебютантов – семнадцатилетней братчанки Анны Черниговой (её любимый поэт – Анатолий Кобенков) и Кристины Эбауэр из Усть-Илимска, которой едва за двадцать. Один из участников альманаха, из поколения «вечных мальчиков», нынешних пятидесятилетних, говорил мне: «Если они так умеют в двадцать, то что им предстоит!» Бывает всякое. С авансами спешить не стоит, но начало дарит надежду. Надежду на продолжение. Постарше ещё одна дебютантка – Инга Седова, числящая в числе своих учителей того же Анатолия Ивановича Кобенкова. Следующее открытие – это уже привет из будущего Анатолию Преловскому, переводчику эпосов сибирских народов. Наш сосед, улан-удэнец Аркадий Перенов, чьи верлибры уходят корнями в «Гэсэр», яркое, метафоричное, самобытное, точное в деталях.

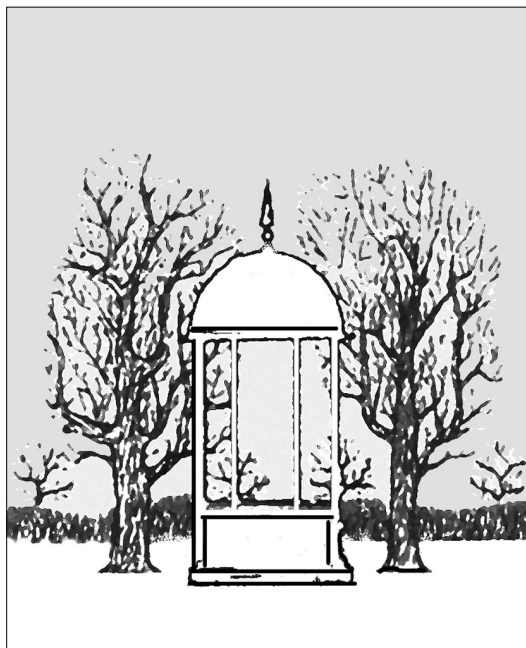
Почему-то так случилось, но пять поэтов возвращаются на страницы альманаха спустя шесть лет. В уже далёком 2003 году их стихи были представлены иркутским ценителям. Давайте вновь для себя откроем их. Екатерина Боярских – лучше известная в стране и за её пределами, чем в городе, в котором живёт. Ювелирная работа со словом и звуком порождает строчки лёгкие, как дыхание и уязвимые, как мир. Максим Чуласов – бескомпромиссный, верящий в мелодию и возможность выразить всё вокруг её средствами. Прислушайтесь: то, что он говорит – остросоциальный рэп,

неуловимым образом превращающийся в поэзию. Эти молодые люди – зрелые авторы. Пожелаем им успехов! А ещё к нам возвращается, поражённый немотой провинциального городка, Андрей Семёнов. Возвращается, причём своими главными стихами, не прочитанный, а если – прочитанный, то непонятый – Сергей Шаршов. Возвращается, побитый жизнью, но не утративший «шклиндовского» романтизма – Василий Орочон.

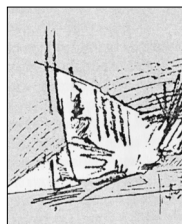
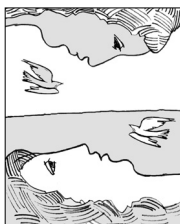
Читайте их, они того достойны.

Хочется верить, что каждый, открывший этот альманах, найдёт в нём что-то интересное и нужное для себя, то, без чего невозможно было обойтись. Хочется верить, что каждый, открывший этот альманах, придёт на мероприятия 9-ого фестиваля поэзии на Байкале, потому что без читателей фестиваль – не праздник. Невозможна поэзия как вещь в себе. Поэзии необходим отклик. А кризис... Кризис пройдёт. Стихи – останутся.

Мемориал



ИРКУТСКОЕ
ВРЕМЯ



Памяти Анатолия Целовского





ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Для многих иркутян молодого поколения, наверное, будет открытием тот факт, что известный московский поэт, лауреат Государственной премии, автор двух десятков книг стихов, собиратель эпоса сибирских народов Анатолий Васильевич Преловский – наш земляк. Строго говоря, он земляк иркутянам не только по рождению, но и по взрослению и становлению Преловского-поэта.

Биография его – в его стихах. Потомок русских казаков-землепроходцев, он родился в Иркутске в семье служащих в 1934 году, рано лишился отца, попавшего под волну репрессий: его арестовали по сфабрикованному делу, мучили, в 37-м расстреляли, и для сына это стало незаживающей раной, кровоточащей всю жизнь. Забегая вперед, скажем, что осмысление этой темы, этой трагедии для судьбы России, стало лейтмотивом отдельной объемной книги. Но к ней мы ещё вернемся.

Безотцовщина, по словам поэта, рано увела его от родимого порога «в якутские края», где его приютила семья староверов. Тяжелое детство, полусиротство, война... Затем снова Иркутск. Живя здесь, в Черемховском переулке, с матерью и братом, он поступает в Иркутский госуниверситет, заканчивает историко-филологический факультет, пробует писать, а, получив диплом, работает на студии кинохроники.

Вот уж когда пришлось покататься по городам и селам Западной и Восточной Сибири! Не лишенный в хорошем смысле авантюризма, Преловский в молодости на каких только стройках не побывал, кем только не поработал; в его трудовой биографии была даже такая профессия как погонщик скота – из Монголии он перегонял в Союз стада быков – сарлыков. Он знал, что такое охота, что такое геология, жизнь в зимовье и палатке. И все это время исписываются все новые блокноты и тетради. «В стихи врывается ветер сибирских пространств, запах тайги, гул комсомольскихстроек, - пишет о нем старший собрат по литературе Евгений Сидоров. – Сами названия стихотворений ...вызывают в сознании читателя картины трудовой битвы за новую Сибирь, развернувшейся в середине пятидесятых годов».

Сегодняшний читатель может скептически поморщиться: как же, читали мы подобные прославления героического труда. И ошибется. В стихах Преловского нет декларации, действительно, свойственной многим стихотворцам века двадцатого. Нет этого оголтелого восторга перед трудностями, которые нужно героически преодолевать. Он говорит о своих товарищах, «не впадая в ходульный пафос», он хорошо видит, чего стоит этот «черный труд», он по себе знает, «как холодит пальцы зимняя стужа, как на мальчишеские плечи ложится бетонная тяжесть усталости, когда даже солнце кажется серым, подернутым цементной пылью».

Здравствуй, Братск! Прими меня в ученье,
Приобщи к свершениям своим.
Мне не надо выше назначения –
Быть великой стройки рядовым.
Встать у транспортера, у опоки,
С мастерком подняться на леса,
Чтобы о делах своей эпохи
Говорить от первого лица,



– пишет поэт, приехавший в 1958-м по комсомольской путевке на строительство Братской ГЭС.

Да, таким было время и так складывался поэт, который не хотел отсиживаться в тишине домашнего кабинета, - так он зарабатывал себе право говорить о времени и его содержании «от первого лица». И, как мне кажется, такой путь был для него естественным и логичным; это сегодня, чтобы говорить о жизни, иные стремятся опуститься на самое дно, – не будем их судить, - но не судите же и вы поколение шестидесятых-семидесятых, которое выверяло аккорды романтики на собственной шкуре. Просто стих Преловского мужал и зрел вместе с взрослением души, а душа взрослела, проходя огранку каторжной работой, риском и не придуманными трудностями. Не случайно одна из поэтических книжек того времени названа «Черная работа» - это была та самая работа, которой поэт никогда не гнушался.

Помню, как в семидесятые Анатолий Васильевич, тогда уже живущий в Москве, приезжал в Иркутск на писательские совещания, на популярную тогда в Иркутске конференцию «Молодость. Творчество. Современность». Говоря о творчестве молодых, он был придирчив и требователен, он хотел ясности мысли и точности формы, он отрицал даже намек на банальность и стереотипы. Сам он тяготел тогда к крупным формам, к философичности стиха.

Связь его с Сибирью, с сибирскими стройками не прерывалась – будучи уже не юным человеком, он проехал по всему БАМу, ища живые впечатления для новых поэм о «вековой дороге», об ещё одном восточном выходе к океану, столь важном для страны. За свой свод поэм о сибирских стройках в 1983 году он был удостоен Государственной премии СССР.

Но, размышляя об образе современной ему России, Анатолий Преловский не мог забыть и ее трагической истории – в частности, событий, отнявших отцов у миллионов таких же, как он сам, пацанов и девчонок. Он пытался и не мог понять политику, повлекшую сирот-

ство не одного поколения. Все эти годы он писал большую книгу, которую назвал «Баллада о сыне-врага-народа».

К 1990 году работа над книгой была закончена. «Впервые в русской поэзии трагедия геноцида и сиротства исследуется как всенародный образ жизни и состояние души отдельного человека. Эта книга памяти была подписана в печать в 1990 году, а затем арестована и приговорена к забвению». Мы читаем это на обложке книги, все-таки вышедшей четыре года спустя. «Поэт исследует состояние духа и умонастроений нашего современника – человека, противопоставившего гнету жизни свою родовую память, волю жить и творить вопреки бедам, верность народным нравственным традициям».

Едва открыв только что вышедшую из печати книгу и прочтя первое стихотворение «Боль», я вспомнила: его, это стихотворение, Преловский читал как-то узкому кругу поэтов-иркутян – тогда оно потрясло всех...

Можно много говорить о Преловском как первоклассном переводчике, можно – как о собирателе эпосов самых разных народов. Они, эти изыскания, высоко оценены учеными, изучающими культуру разных этносов, их устное народное творчество. Эти собрания – настоящие коллекции народной мудрости, достойные уважения и удивления.

И все же для многих читателей, и себя я отношу к этому ряду, Преловский остается оригинальным поэтом, в чем-то - непревзойденным мастером, человеком нелегкой судьбы, сумевшим переплавить в поэтические строки самые глубинные мысли и чувства.

А в ноябре 2008 года поэт Анатолий Преловский умер, не дожив года до своего 75-летнего юбилея...

Любовь СУХАРЕВСКАЯ



Анатолий ПРЕЛОВСКИЙ

Боль

Без траурных флагов на зданьях казенных,
Без поминальных свечей и речей
Россия простила невинно казенных.
Казенных простила.
И - их палачей...

Одних извели.
А другим пригрозили.
Всем выдали справки об их невинне.
А сколько назад не вернулось к России,
Откуда отец не вернулся ко мне?

Оплачем? Оплатим ли эти потери?
Неужто и нету таких, кто в долгу
Пред память мертвых?
Россия, не верю! –
Прощаю, прощаю, простить – не могу.

1964

Если ты назвался человеком

Если ты назвался человеком -
зажигай сигарки от зари
и дыми,
и с этим грубым веком
на басовых нотах говори.

А не смог -
живи и благодарствуй.
Что привык, твори и открывай.
Через все невзгоды
государству
подавай и соль, и каравай.

И меси бетон.
В земле копайся.
Ни во что не ставь свои труды.
В три погибели перегибайся.
Но уж распрямляйся -
до звезды!

1962

Молодость

Да, молодость не терпит серых буден,
Ей нужен подвиг, и она права.
Пусть наломает дров, но это будут
Хорошие и жаркие дрова.



Да, молодость не терпит недоверья
К ее мечтам, надеждам и делам –
Она уходит, стуком отчей двери
Судьбу переломивши пополам.

Ее большие замыслы призвали:
В тайге, где лед, где сушит лес зима,
Она в железный грунт вгоняет сваи,
Чтоб утвердить на них свои дома.

Ее сама история вскормила:
Спаявши жизнь с надеждами земли,
Она проложит в будущее мира
Мосты, что деды недовозвели.

Она повсюду. На горах и реках.
Растит сады. Иль тянет провода.
И в стройках, вбитых в середину века, -
Ее призванье, цель и правота.

1958

Верблюды

Плешив, задумчив и тяжел,
Красив, как на картине,
Он по шоссе в пустыне шел,
По самой середине.

Ходили ходуном бока,
Глаза глядели томно
На безыскусственность песка
И чудеса бетона.

Ему сигналили, но он
Не уступал пространства,
Шагал, как в битву фараон,
Упрямо и бесстрастно.

Шагал и все тут. По прямой.
По правилам хождения.
Как символ вечности самой,
Как жизни утвержденье.

И суетный двадцатый век,
Подверженный гордыне,
Смирял своих жестинок бег
Пред поступью пустыни.

1971

Медвежья шкура

Сколько стоит медвежья шкура?

День дороги без дымокура
По чаще, в комарне, без карт.
Случай.



Пуля.
Винтовка.
Фарт.
Страх – когда он встал на дыбки.
Мягкость пальца. Твердость руки.
Выстрел!
Радость: лег наповал.
Ужас: мертвый навстречу встал.
Жизнь пережить – передернуть затвор,
И десять новых – добить в упор.
И ждать, не веря ни в тишь, ни в кровь:
Встанет, и все повторится вновь –
Десять жизней и десять смертей...

Плюс – за выделку семь рублей.

1963

Любимая

Люби меня, любимая моя,
Ты женщина, ты за меня в ответе,
А я – за всех живых на этом свете,
Но ты люби меня, любимая моя.

Уходят дни, и мы уходим с ними.
Слабеет плоть и холодеет кровь,
Но после нас останется любовь –
Ее у нас и гибель не отнимет.

И верность рук, созревших для объятий,
И стук сердец, сгоревших от любви,
Наука ждать, свобода расставаться –
Все это счастье... Нежностью объятый,
Я не устану для тебя рождаться,
Лишь ты люби меня, люби меня, люби...

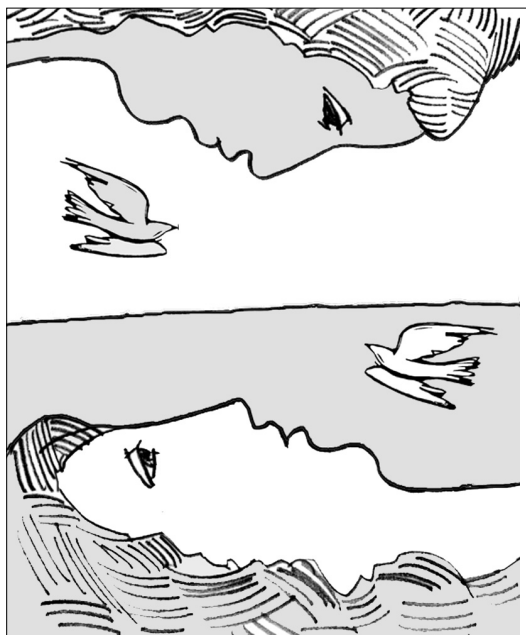
1972

Преловский Анатолий Васильевич. Автор книг стихов «Багульник», «Просека», «Берега», «Рукопожатье», «Лестница», «Черная работа», «Земной поклон», «Дальний свет», «Стихи и поэмы», «Вековая дорога. Свод поэм», «Пушкинский почерк», «Баллада о сыне-врага-народа», «Невоенная война», книга «Поэзия древних тюрков», «Колчан сердечных стрел», «Шаманские песнопения», пьеса «Пятый угол», «Маленький человек» и др.

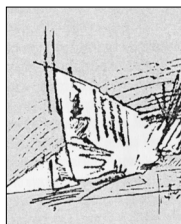
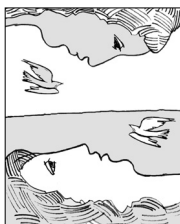
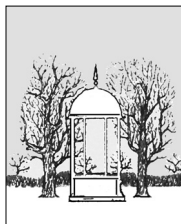
Член СП СССР (1960). Был членом Ревизионной комиссии СП РСФСР (1985-91), редколлегии ж-ла «Сибирские огни».

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Премия СП СССР (1978), Гос. премия СССР (1983).

Перекличка



ИРКУТСКОЕ
ВРЕМЯ



Анна Асеева, Иркутск
Екатерина Боярских, Иркутск
Алексей Федзевий, Шелехов
Игорь Дронов, Иркутск
Сергей Жариков, Братск
Александр Журавский, Иркутск
Василий Костромин, Иркутск
Светлана Михеева, Иркутск
Артём Морс, Иркутск
Василий Орогон, Братск
Аркадий Перенов, Улан-Удэ
Инна Седова, Иркутск
Андрей Семёнов, Усолье-Сибирское
Любовь Сухаревская, Иркутск
Анна Черникова, Братск
Максим Чуласов, Братск
Сергей Шаршов, Черемхово
Алексей Шманов, Иркутск
Кристина Эбаурр, Усть-Илимск
Сергей Эпов, Иркутск



Анна АСЕЕВА

Ответ барышням
околобальзаковского возраста
на извечный вопрос «Кто виноват?»

Я одна не хожу за грибами,
Ибо вывезти их не под силу.
Мужа нет – так, чтоб с автомобилем,
И любовника – так, чтобы в лес.
Я по жизни всё время любила
Небогатых мужчин, неактивных,
То советских каких инженеров,
То и вовсе каких работяг,
Но таких, чтобы денег немного,
Непременно трико с пузырями...
Вот понравился как-то бухгалтер,
Так ведь нет! – оказался женат.
Даже как-то, порой, неудобно
Пред заезжим каким кавалером –
Ни грибочков ему не поставить,
Ни капусточки к водочке нет.
Да и, кстати, вот тот же бухгалтер,
Он и дома грибочков успеет,

Да к тому ж, чтоб их как-то сготовить,
Всё равно я подруге звоню.
А она у меня мировая!
Так огурчики здорово солит,
Что под водочку хочется очень
Все огурчики с баночкой съесть.
И грибочки «уходят» чудесно.
Вот и муж у нее – просто прелесть!
Всё – в семью. И заботлив, и нежен,
И умён, не смотрите, что мент.
И, конечно, с женой за грибами,
Если что, и посуду помоев.
Изменяет нечасто и тихо.
В общем, так же всё, как и она.
Я, порою, сижу на балконе,
С сигареткой в зубах размышляя,
Что счастливое это семейство
Подражанью святой образец.
И одна лишь тоска меня гложет,
Что движение это по кругу
Происходит всегда и со всеми,
Ну уж точно – со всем большинством:
Лимузины, костюмы и платья.
Страсть, сносящая плоские крыши,
И покатые тоже – до кучи.
Клятвы верности: Да! Навсегда!
Пусть любовь и осталась, быть может,
А вот с верностью как-то не очень...

И сижу я опять с сигареткой:
НА ХРЕНА МНЕ ТАКИЕ ГРИБЫ???



Вот так и заворачиваем: кто за угол, а кто – ласты.
Пространство уже не вмещается в третий глаз,
и потому не думаешь, что за углом – опасно,
и движенье не спасёт от заворачивания ласт.

И за каждым углом, прямым, как вопрос «Будешь третьим?»,
понимаешь, что будешь, поскольку ты снаружи угла,
а внутри, во главе, в голове паутина метит
незамеченное. Но и этого твой третий глаз

не вмещает, ибо каждый угол имеет стены,
даже тот, где смыкаются параллель и меридиан.
Даже если кто-то тебе рассказал о других вселенных,
за углом завернешь на троих: ты в ластах, Господь, стакан.

Беги, Лола, беги!
Не разбирая ни зги,
ни дороги,
ни слов, ни поступков, уроки
не извлекая,
упрёков
не избегая, беги.
И друзья, и враги –
только вешки
на обочинах. Хоть себе-то не лги.
Ты кому-нибудь веришь?

Беги.

Мимо бигов и бенов и прочих уродов,
всё от тех же уроков и прочих уронов,
подключая инстинкт, отключая мозги,
отвергая долги. Беги.

От бессонных ночей и искусанных пальцев,
философии лузера – быстрее и дальше,
сломя голову, руки и но-ги.

Бе-ги.

Всё равно этот мир будет сдавлен и смолот...

Далеко ль убежала ты,
Лола?

Из какой подворотни нахлынет, накроет и вынесет
За пределы понятий о жизни, добре или зле?
Эта правда, она ведь бывает нелепее вымысла
Городов, огородов, капуст или притч о козле

И про злую любовь. Не весна, не попишешь. Да стоит ли?
Привыкай к февралю, к забинтованным снегом домам,
К ожиданью исхода, рождения нового стойка.
Ничего не попишешь, не надо, он сделает сам.

Отразится в зрачке и нахлынет. Ходи подворотнями.
Я пойду за тобою – Зима, Непослушная Скво.
Я хочу посмотреть, как накроет – большое, немотное –
Не весна, не любовь, – осознание себя самого.



отрекись от своего,
что принадлежит по праву,
это было баловство
глаз и мальчиков кровавых,

возведение в лингам
самой главной из утопий,
по кисельным берегам
нескончаемые топи,

в этом всё: крахмальный грунт,
в мутном небе коромысло
и любовь как русский бунт –
без пощады и без смысла,

где в итоге всем равно –
к телу чистая рубаха.
эти пальцы – так давно –
даже ладаном не пахнут.

Екатерина БОЯРСКИХ

Шрам

Где начинаю – шрам, ожог,
безвестно жив, незаметно цел,
но разомкни меня как замок,
упрости меня как прицел.
Где начинаю – распад, рассвет,
в облике оборотня я гость,
в облаке облика свет спет,
пуст и прожжён насквозь.
Вверх полнолунная колея,
невидима и умна,
вниз полоумная польнья,
а я не та, я не там, **никта** –
я след от зубов огня.
Собачий бег по следам огня,
горячий пар над моей рукой,
вина на том, кто утратил жар,
беда на том, кто утратил жар.
Я вижу двери за темнотой.



Я вижу горе и птичий свет,
и племя нерпы, и сон совы,
я вижу горы, которых нет,
мужчин и женщин – они мертвы,
а с ними дети, которым жить.
Я вышел в имя из тьмы лесов,
я вижу сердце – оно дрожит.
Я выполз в имя из тьмы болот,
меня от каждого слова рвёт,
а тут всё в золоте соловьёв.
В этом золоте есть любовь,
добра как смерть и черна как мать,
ну, веселись, выходи из слов,
никто не должен их понимать.
Ну, веселись, умоляй, зови,
как раненый ждёт своих,
не оторвать от любви меня, от меня любви,
не разделить их,
коричневый шрам от руки огня
от моей руки не отнять.

Пока ты здесь, сотвори коня, отвори пути,
пока я здесь, пожелай меня,
пожелай, чтоб нас было не найти.
И пусть ты сын его, а я вор,
ты дом его, а я двор,
ты кровь его, а я сор,
но ты прав
и я прав,
ты шрам
и я шрам,
теперь кусай меня, убивай... свети.

Из солёных слов слёз, из слёз слов,
из разума моря и рек умов
веди меня, уходи.

Стихи про сне

А между тем от неба до земли
всё – перелётный снег, и фонари,
как будто их на волю отпустили,
гуляют всю-то ночку до зари,
а мы им светим, словно фонари,
у нас по две и по три головы
в старинном стиле,
стоим, сквозь снег протягивая свет,
я человек, а значит, я предмет,
стою в снегу, а кажется – иду,
переплываю с острова на остров,
перебираюсь с воздуха на воздух.
Я буду снег. Чихаю на ходу –
и всё, я снег, снежинки как химеры,
Бодлер, зараза, и Гомер, холера,
заразны. Кто идёт над бытием
своим воздушно-капельным путём –
стой! Лучше так – **грядет** над **бытием**
своим воздушно-капельным **путем**,
поёт, поёт – ай нет, **поет**, **поет**,
невидимый, неслышимый, как ельник
на фоне поднебесной темноты,
как рано постаревший понедельник.
Когда я снег, засыпавший мосты
и новые придумавший просторы.



Приветствую вас, славные заботы.
Приветствую вас, дивные заборы –
нет, мы другим вас именем укроем,
чтоб вам тепло – не открывайте глаз,
тут только снег, а там, внутри, у вас
цветут сирены и поют сирени.
Приветствую вас, бывшие деревья.
Не изменились – кто вас с места стронет,
когда я снег – пока я – кто я – тонет –
тому назад, топлю, тяну, тону,
люблю, терплю, вверх дном иду ко дну,
вверх дной, спина к спине, у дней в крови,
не двигайся, смотри, замри, зови –
поэзия земли не повторится,
и Китса нет, но, может, вместо Китса
проснётся подорожник или кит.
Поэт земли его не прекратит,
но и не повторит – переведёт.
Прошелестит, курлыкнет, проскрипит –
поди поймай, что сделал переводчик,
поди пойми, как сделан перевод.
А Китс кузнечик. Вместо многоточки
я сыплю снег на место этой строчки –
пусть он её наполнит и поймёт.
Пока я снег. Пока ещё не лёд.
Быть может, в полуметре полутьмы
плывут, как ламантины, Ламартины,
живые белоснежные картины
медлительной поэзии зимы,
а мы – полунемые полу-мы.
Быть может, в полушуме полушага
откроются туманные квартиры.

Нам снег велит, а что – не говорит,
всё для него перо и всё бумага,
а там огонь для путника горит.
и мы узнаем, хоть не узнаём:
бочком к природе повернётся чайник,
и тютчий лик отобразится в нём,
и чай возможен, но невероятен,
пока я снег, не мне о нём судить,
летаю я печально и случайно
а выпаду – и стану обитатель,
и можно будет всем по мне ходить.
Меня следы распишут, отягчая,
и я забуду век, когда я снег.
...увидела во сне стихи про сне,
проснись, про снег, рассыпалось, проснулась,
забылось, остушилось, поскользнулось –
и наступает день, когда я тень.
Иду в снегу по следу за собой.
Приснись, аминь, рассыпья под ногой.

Воздух

Что у тебя останется от меня?
Что от меня останется без тебя?
Воздухом стану, воздухом – без гнилья,
без седины, без паузы. Всех обнять –
воздухом стану – в пёрышки птицам дуть.
В небе круговорот не скажу какой.
Можно любой дорогой – тропой, рекой –
обе они похожи на обморок и на путь.



Вот самолёт летит не скажу когда,
может, завтра, может, позавчера.
Я ни его, ни даже малого комара
не удержу, не выдержу до утра.
Вот синева домов, нагота платформ.
Толстая женщина, девочка с рюкзаком.
Как их утешить, что им пообещать?
Воздухом стану, чтобы не закричать.
Рек предзакатных розовое кино –
воздухом стану, чтобы не исказить.
Не прерываться, даже когда темно.
И никогда не падать. И ничего не ждать.
Так, заполняя каждую пустоту,
запоминая птицу, сквозняк, обвал...
Может, моя тропинка по Иркуту
То же, что твой проклятый речной вокзал.
Это освобождает, выводит вне.
Воздухом я никого не смогу убить.
Может быть, будет доля моя в огне,
но разводите огонь – чудеса других.
Огонь упадёт, уступит, не примет бой.
Воздухом стану, хриплым и ледяным.
Свет отступает – я всё равно с тобой.
Свет вероятен – воздух незаменим.
Землетрясения, молнии, миражи –
это дела других, чудеса чужих,
пусть успевают жить, успевают лгать.
Воздухом стану, чтобы не напугать.
Нужен только предлог, чтоб меня нашли,
перекрывая заводи облаков,
невыразимо огромные звёздные корабли,
каждый на полземли, как моя любовь.

Горе, чужое горе – не пожелать.
Чудо, чужое чудо – не пожалеть.
Чем мне дышать, зачем мне вообще дышать –
в воздухе будут люди летать и петь.
Их испытать и выдержать. И понять,
что без меня останется от меня:
старые-малые, тихие острова –
звери-слова, цветы-слова и следы-слова,
ровные, чёткие, чёрные, без огня,
как далеко сквозь воздух – видные сквозь меня.

Детское море

Сели в троллейбус, все вместе едут в библиотеку.
Ясно; видно каждого малого человека –
каплю детского моря,
былинку детского поля,
осинку нового леса в тёплой осенней шапке.
Они смеются. У них есть уши, глаза и лапки.
«Переживёшь», говоришь? А я не переживаю.
Капля по капле детское море переплываю
и дна не знаю. Свет нерождённый, вечность!
Видишь ли свет рождённый – сияние человечков?
Они всё сходят и сходят в злобу, в чуму, в заразу.
Дай им сразиться, не искажай их сразу.
Голодом не мори, не привязывай к батарее,
хочешь убить – не мучай, пусть умрут поскорее.
Не начинай, говоришь? Да я и не начинаю.
Еду в троллейбусе до конечной,
детское море запоминаю.



Ты его помни тоже.
Ты же их видишь – куда ж ты смотришь?
Ты же их видишь, боже?
Не превращай детёныша в чёртов голем.
Не разрушай их горем и алкоголем.
Не посылай в западню за цветными снами.
Не делай с ними то, что ты сделал с нами.

Долго. В холодном доме, словно в разбитом шаре,
сесть на чужой кровати в зелёном шарфе.
Можно смотреть в окно бы.
Этого слишком много.
Долго – такое слово, его повторяешь долго.

Тени. Как будто в небе прыгают белки, волки,
бегают скороходы
и теплоходы на воле плывут по водам.
Это скороговорка? Это скороговорка.
Только так и поймаешь невидимого неволка.
Тени – как будто в небе сходятся тропы, травы
или такие раны.

Чудь, звёздная широта, дикая и прямая.
Кто беззвучные эти стаи перелистает, допонимает
до Голубиной книги, до верной строчки,
до самой точки – и дальше глянет,
устанет, переустанет, а не вернётся.
Какая тень до родины дочитает, на небо переберётся?

Долго. В холодном доме сидеть на чужом пороге
по времени – на рассвете, у времени – на дороге,
не говорю – вдыхаю и выдыхаю,
не кто такая – куда, для чего такая.
Тьмы тем, снег в снег – аспирин и вата,
это твоя расплата, твоя зарплата,
глупая кочерыжка, бедная деревяшка,
это твоя награда – что ничего не страшно.
Горе меня не видит, город меня не помнит.
Тени. Как будто в небе много холодных комнат.
Вот она, лестница без перил.
Вот она, гостиница без гостей.
Вот они, пропавшие без вестей.
Мир погасил, имени не спросил –
По ним вечный огонь горит.
Он не погас, он горит за нас.
Из нас. Из последних сил.



АЛЕКСЕЙ ПЕДЗЕВИЧ

«My women from Tokyo»

1

войдём сквозь туман в страну островов
в задумчивую интонацию дюн
в клавиатуру
неспешных приготовлений к рассвету

в дымчатые портьеры антиквариата
где в джутовых тюках плодятся моллюски
где мутная грань звука – перламутр
полируют жемчужины
последние предубеждения

задета шёпотом паутина
на челюстях брезгливых насекомых

тлеют в коврах любовные игры удавов
mademoiselle испугана шорохами сатурналий
массивы анатомического театра
в пружинах помноженных тел
Траектории либидо

где всю ночь раскрыты дыханием двери
рассыпаны зёрна солоноватые ядра хитина
их лизут ящерицы нас касаясь
раздвоенными языками
и мы целуем бёдра друг друга
невидимы теми кто нас целует
всю ночь твой голос лишь запах кофе
солоноватая кожа вдоха
мы длительны
медленны
мы покрыты
зелёной влагой люминофора
обвиты теми кто ищет рядом
Целуя нас

актеры внимательны в позициях ласки
массивы анатомического театра
где формалин – содержимое резины плоти

измятые диагонали лица
поляны апрельского снега прохладной постели
определение утра на ощупь

ты вся – прошлогодняя осень
ты – долгий собор
чьи стены не выдержат свода
лишь я закричу
захочу оболгать тишину твоего пробужденья

вот-вот я открою глаза в огромное небо!
оставив тебе сонное тело со шрамом стыда
запахом пота истёртых бёдер следами укусов



оставив тебе эту землю
разлагающегося снега и мёртвого леса
чтоб вырвать из пропасти с простыни этой
желанье весны

вот-вот ты проснёшься
чтоб бросить себя в развороченный дерн
состязаясь со мною в познание весны

mademoiselle любит засахаренные сигареты
хрустящие ломтики запивать золотистым портвейном
кокетливых капель пролитое солнце
бесчисленный след от твоих поцелуев
в объеме дрожащего я

определение цвета на ощупь

где всполохи утра расколотый мёд
он был льдом
и вчера его звали янтарь
а сегодня я плавлю ладонью на лоне твоём
эти волосы рыжей весны
эти нити пушистого мёда
познавший их вкус

Как хрипло мы будем молиться

О боже, как верю я в это усталое тело!
Как жадно оно поглощает в свой стонущий омут
утро
Как жадно ожесточённые губы
Как жадно зажмурены эти глаза подо мной

вот-вот ты откроешь глаза
и увидишь огромное небо
в постели которого я собираю себя

2

Поедем в Габороне.
Наши неразговоры в пустынных вечерних кафе
Ветер.

Прислуга –
заговор скрипучих лестниц
На распакованных чемоданах
твой живот целует продавец апельсинов
ты топишь в себе его зубы
ты стонешь
ты тонешь в дезодорантах

Второе виски
Пряная скатерть
Свежие новости переворотов
«Искусство народа Банту»...

войдешь
с привкусом африканского пота
в уголках искусанных губ
Закажешь кьянти со льдом

– Где мы?
– Стокгольм.

*Поедем в Габороне,
любимая*



3

Мокрый снег
Чёрный город
Обугленный город
Мокрый снег
Все остыло
Но тает цепляясь за камни
Мокрый снег
Скользит по асфальту мой голос –
Никого.
Я закрыл свою память

Всё измерено в гранях ненужного тела
Механизм созерцания мокрого снега
На продрогшем бетоне в безумии белом
Растаются со мною струны Тарреги

Волны лижут косматые ноздри вулканов
Ночь вползает на побережье
Фосфоресцирующие ожерелья
Нижут движущиеся великаны

Мягко падают апельсины
В теплый бархат травы и пены
Жгут костры на краю вселенной
Седовласые альгвасилы...

Commedia dell'arte

1

Усни.

Не преврати в улыбку

Игру без смысла, правил и конца.

По дну ущелий твоего лица

Лежит роса,

В ней ползают улитки.

Их хищный шёпот впитывает мох,

Скользит охота сумерек и чисел,

Охотники пересыпая бисер,

Отлавливают каждый взгляд и вздох.

О, математики суровой простоты,

Баллистики упругих траекторий,

Соединяя ложь своих историй,

Плетут координатные ходы

Которыми покрыта Ты.

Заглядывая в пропасти стволов,

В листве и травах заложивши уши,

Перемещают дымчатые туши

Предощущенья дымчатых котов.

Им ведома ночная вязь игры,

Они лакают сны в Твоих ресницах,

Едины похотью во многих лицах,

Гипнотизирующе вялы и добры.

Усни.

Свет электрических полос

По линиям твоих татуировок.



И в проволоке спутанных волос
Протянут оголённый провод.

Нерв сна.
Его коснуться – смерть.
На нем висят обугленные трупы.
Но звери жаждут впитаться в твои губы –
Ты их сжигаешь сонным стоном – «нет!»

Доверенная алгебре игры,
Ты раскрываешь плоть свою средь мглы.

Усни.
В осеннем пепле жар углей.
Когда всё тело – клавиша бессилья
И истекают соком апельсинным
Обрубленные пальцы клавесина –
Твой сон – ожог руки моей.

*Мышьяк подсыпан у норы крысиной
И пахнет псиной по дороге к ней*

2
Когда исчезнут наши имена
Во мхах и трещинах на камне
Когда бумага потеряет память
Истлевших судеб пряча письмена
Наступит Осень
И её страна
Дождями ржавчины падет меж нами
В века дорог и листопады сна

Прощай!
Меня уже зовёт
Желанный дымный мир предгорий
Где звездами унизан небосвод
Где капля – мёд
И сотни лет течёт
По дну на миг исчезнувшего моря

Меня манят чужие города
Их пьяные развалины качает
Ирония
И бьётся о причалы
Нетрезвая субстанция начала
Уже вино – ещё почти вода

В пустынях побережий тосковать
Пить ветра вой –
Прибоя вечный эпос
Где космос –
Острова
Крит, Родос, Лесбос...
Искать слова
И забывать слова



Игорь ДРОНОВ

Мы видим одинаковые сны –
Шныряя над ночными городами
Какой-то неопознанной страны,
Такой же бесприютной, как и сами.

И не слова – пока движенье губ
В тщете окликнуть, обозначить имя...
Впиваясь в мундштуки фабричных труб,
В корыстных целях пользуемся ими.

И так дышать, не тратя сил на вдох.
Лишь иногда, волнуясь при ответе,
Выталкивать моря из берегов...
Прохожие сочтут, что это – ветер.

Ну, кто я и зачем? Какой нелепый лес.
Что вынудило нас сойти на этой станции,

Где яркие цветы и в комариных танцах
Знакомая тоска с мелодией и без?

Как просто не желать, и, голову задрав,
Лежать в поляне тех, несорванных, ромашек,
Поскольку нет любви, воспоминаний даже,
Поскольку скоро дождь пойдёт как из ведра.

Ударом по лицу. Пусть он напомнит мне
Движение твоих всегда холодных пальцев.
Вот так – лежать в траве и смерти не бояться
Я, кажется, готов, и, кажется, вполне.

Я знаю то, чего не знаешь ты,
На многое взирая без истерики...
Мы так готично развели мосты,
Что оказались жить на этом берегу.

Откуда он берётся – странный жар,
Отодвигая нужные занятия?
Мы так кошерно развели базар,
Но вышло, что совсем не по понятиям.

Когда – без дна, начните поиск с по-
верхности расплавленного олова...
Мы так гламурно развели клопов –
Они же населили наши головы.



Оно прорвётся, только пальцем тронь...
Я что-то говорил о моногамии?
Мы так соборно развели огонь,
И сами же сгорели в этом пламени.

Двадцатый век! Верни мне те слова,
Что отобрал, безжалостно использовав...
Нас так антично разведет молва
По беспощадно выжженному воздуху.

*Грете Ловисе Густафссон,
женщине и мифу*

1
Прихватив остатки скарба,
Не стирая грим со щей,
Где-то бродит Грета Гарбо
В малахитовом плаще.

Ходит, в сущности, без цели –
Чтобы бросить мне вослед
Из двенадцати камелий
Окончательный букет.

Между путиных и барби,
При отсутствии мужчин
Вы – нелепы, Грета Гарбо,
Впрочем, я на Вас дрович.

Потому что в мире оном,
Знает даже идиот,
Наряду с одеколоном,
Только женщина спасёт.

Сколько видел их, при этом
Ковырявшихся в носу!
Очень модно быть раздетым
Посреди гламурных сук.

Улыбаюсь, суперстар бо,
Шевеля бычок во рту,
Я люблю Вас, Грета Гарбо,
Как земную красоту!

Архивируется zipом,
Чтоб не щёлкать мышкой зря...
Что, теперь стоять Эдипом,
В фотографию смотря?

Или медным купоросом
Выводить грибок со стен?
Между гендерных вопросов,
Среди тендерных проблем.

Чтобы походить на лоха –
Нацарапаю угрей.
Мне, на самом деле, похуй,
Что об этом скажет Рейн!



2

Толстый том. Святой Амвросий.
Вот, купил.
Я приду, а дома спросят:
Водку пил?

Сколько можно быть потехой
Всем людям?
И не ври, что к нам приехал
Мандельштам.

Он же сгинул в прошлом веке
На войне,
И стоит у дискотеки
В чугуне.

Может выдать меру горя
Только взгляд,
Устремлённый не на море,
А назад.

Почему они не знают
Наших лиц,
Злые стаи испражняю-
щихся птиц?

Этим бронза или габбро –
Всё одно...
Грёб как грека к Грете Гарбо
Из кино

Но уткнулся в гниль забора
По пути...
Нет, меня как Нильса Бора
Не спасти.

Это поиск идеала,
Сher ami,
Мне тут книжечка попала –
На, возьми.

А поэт уехал утром
Навсегда,
Перстень всё хотел кому-то
Передать.

Я – домой, но было поздно...
Сонмы звёзд...
Всё пропили, даже розу
Не донёс.

Так просрать земное счастье:
Счастья – нет!
Может только крупный мастер,
Лишь поэт.



Сергей ЖАРИКОВ

на земле
 внутри
 или снаружи
моря атмосферного земли
слышится
 спасите наши души
от разлуки
 пули
 и петли
от сомнений поздних
 ранней стужи
и надежд сжигая корабли
мы сготовим
 и обед
 и ужин
и подставим к палочкам нули

королева улиток
забравшихся в тень
ты серебряный слиток
на сердце надень
и в тяжёлую воду
где камень-голыш
обещают свободу тебе
говоришь
твои верные слуги
в алмазных слезах
пропоют о разлуке
на всех полюсах
как бегут по дорожке
до прошлой любви
королевские ножки
да рожки твои

ни пространства
ни времени
ни жены за спиной
ну так здравствуй
потерянный
мир единственный мой

под капустными листьями
слёз не прячет звезда



Александр ЖУРАВСКИЙ

Дайте весло мне и дайте ялик,
Я нагржу в него много яблoк,

Сыра и прочих мясопродуктов,
Много разных, короче, фруктов

И, загребая в морскую замесь,
Скроюсь, как мысль в дневниковую запись,

Без сантиментов с битьём посуды,
Просто смотаюсь, как все, отсюда

В направлении обратном движению лески,
По крайней мере на этом отрезке

Пути, или жизни, кто как захочет.
Чем леска длиннее, тем жизнь короче.

Так преломляется в жалком рассудочке
Всеобщий закон, применительно к удочке.

Впрочем, без этого сказок навалом
О прозябании великого в малом,

Глубокого в мелком, высокого в низком.
То и иное граничит с риском,

Если не смерти, с неверной ступени
Паденья. Бегущий от собственной тени,

Пути половину в скитаньях проплакав,
Не эту ли лестницу видел Иаков.

Я же, и разве что только по пьянке,
Влезу на уровень первый стремянки,

Поскольку вероятность паденья
Дурно влияет на пищеваренье,

А первый признак морской болезни –
Мир наизнанку, но это полезней

Всего остального как опыт общенья
С общим законом невозвращенья.

денег нет и не устроен быт
слава Богу, ботинки не жмут
и работает общепит
где всегда продают



чебуреки на русский манер
пирожки, беляши
любимую еду – колбасбургеры –
Mickey Mouse`а, учителя жизни

потребителя микроволновых блюд
но бывает, что денег нет
но на день рожденья салют
но в трамвае счастливый билет

увлекает магией цифр
хлебниковский лет счёт
исчисленья души
не закосневшей ещё

ни в праздности, ни в быту
здесь и сейчас, теперь и тут

где есть впереди цель
где всегда позади долг
где жизнь продолжается до
многоточья в конце

где на каждом лежит крест
и у каждого есть звезда
возможность у каждого есть
ответ а priori дан

утром каждого дня
открывая «Канон перемен»
я видел в нём
64 меня

и сегодня я один из них
переправа речная мне
благоприятствует – с проводником
встречусь наедине

только оборотень-лиса
на переправе шерсть
вымочит – чудеса
и в повседневном есть

Господи, Ты ведь есть. Прости
такую наивность мою
что на всём протяжении пути
иногда тебя не узнаю

зная, что Ты скрыт
в каждой пылинке и я
только пылинка Твоя
Твой одинокий быт

боль Твоя и душа Твоя
та, что всегда болит

когда бабло в кармане
к точке летишь, как на крыльях
есть деньги – беги
нету – ищи
когда есть – никакво ни нада



стараемся по-тихому
всё чики-мони
штов никаму на глаза
а эти как чуют
что ты со стружкой
шаля-баля
вся шелупонь повывлазит
типа чё-ково
как типа жизнь
давай замутим
а ты
ково там
у самого голяк
а самого жаба душит
а когда у самого в натуре
ни покурить ни заварить
такой же как эти щас
соображалка всю пашет
сам потом не чухнешь
откуда всё берётся
а щас типа паришь
мол в завязке
хожу шёпотом
говорю на цыпочках
туда-сюда держи пять
а сам туда куда надо
как последний бля
а хули делать
жить надо

между двух церквей торговля вразнос по помойкам
ходит миллионный Христос копытами сапогами месится
грязь нырни за полушкой и будешь князь а вокруг земля
земля грязная жирная сочная хищная земля на которой
растёт земля по которой идёт земля

медной монетой полулишённой достоинства по
подзаборному холоду выстыдился весь беззубо прищурясь
напросвет подносит к лицу пробитый билет трамвайный
человек который был мной внезапно кричит чтобы
проснуться а вокруг земля земля толкучая толчёная
суетливая земля по которой снуёт земля на которой
кишит земля

вдвоём отплыли мы на корабле нашем и было больше
нас чем тех кто на земле
или то была лодка прибитая к берегу на котором цветёт
земля та самая земля на которой цветёт земля

Время клятв

(из Роберта Грейвза)

Найти садовый тюльпан, растущий
В диком поле среди первоцветов,
Или кукушки яйцо обнаружить в гнезде дрозда,
Или гигантский гриб размером с корзину –
Незабвенные подвиги детства.
На раскопках, однажды, колуаясь в земле,
Нитку римских янтарных бус я тростью случайно поддел...



Всё, что казалось мне причудой, тайной, находкой,
Влекло к себе: к простым вещам мой глаз был слеп.
Не клялся ли я в верности тогда
Не истине (как думал) – безрассудству –
И стал изысканным, тем самым, позже,
Ценителем простых вещей, устав
От единорогов и анчаров.

Неужто я забыл, как отдаваться созерцанию
Особенного, как осознать до дна
Радость открытых настежь душ?
Должно ли всё начаться снова: с клятв
Во имя правды, в тот момент, когда,
Заикаясь, молитву тебе возношу
Как признание детское в первой любви?

Василий КОСТРОМИН

Только щебень под ногами,
Словно всё – непоправимо.
Небеса – бездонный камень
Одинокого камина.

У огня – холодный воздух.
На заре распластан ельник.
Может быть ещё не поздно
Пеплом стать
– и колыбелью?

Сорок лет проматывал наследство,
Спит душа, и сердце просит сна –
Польхнёт, невиданная с детства,
Яркая таёжная весна.



Отрешённый от забот капелью,
Варежки бросаю на пенёк.
Матери небесной рукоделье
Синевою наполнило денёк.

Нож, топор, тяжелая двустволка –
Вот и вся охотника семья...
Запоёт у загнанного волка
Гибнущее сердце соловья.

Золотой мне сунула богиня
Рубль, из обращения изъятый.
По отрогам Сихоте-Алиня
Шел к вершинам год пятидесятый.

Я, героем книги без названья,
Ждал, окоченевши на морозе,
Пения, труда и рисованья
На заводах, в шахтах и в колхозе.

Пусть-ка наудачу вседержитель
Приумножит в царствах запредельных
Духоту подземных общежитий,
Сквозняки обугленных котельных.

Золото тюками, как солома.
Рыцарская шпага кавалера.
Эвенкия. Сбор металлолома.
Одинокий галстук пионера.

На примере Франсуа Вийона
Совмещаю в уходящих странах
Ловлю иностранного шпиона
С праздничною свалкой в ресторанах.

Великолепен этот день:
За путешествием – твердыня.
Душа, отбрасывая тень,
Становится собой отныне.

Передо мною – снега даль
И неба северного просинь.
Прости, библейская эмаль,
Твоё железо в сердце носим.

Я во сне увидел праздник.
Холод сердца ненадолго:
Вдруг – собаку угораздит
Превратиться в волка?

...Ружья, лодки – нет покоя,
На земле и в небе тесно.
Над тунгусскою тайгою
Вспомнили Николу Тесла.



Светлана МИХЕЕВА

Иоганн Вир
завершает мир.

Уже и звезды сияют ближе,
Ровнее, тверже покров земной.
Камни поющие надо мной
Красноязыкое утро лижет.

Иоганн Вир
завершает мир.

Тяжёлой дверью вздохнув украдкой,
На день восьмой от истомы сладкой
Очнется сад. И никто чужой
Уж не проникнет в мою ограду,
Никто, несущий ко мне усладу.
На свете пламенно и свежо –

Иоганн Вир
Завершает мир.

Всем уходящим вдали, во мраке
Вослед всегда голоса собаки.
Прощайте, тени любви земной.
Дышу последним – твоим – дыханьем.
В минуты нежного расставанья
Уж новый мир говорит со мной.

Лилит

Я рук твоих боюсь и ты меня не трожь.
И пусть во мне твоя не угнездится ложь.
Я тот сосуд, что всё хранит в начальном виде.
В извечной чистоте, в несбыточности снов.
Я тайны мировой невидимый покров –
Не тонуц, не горюч, не чувствуем, не виден.
Я знание твоё, предел твоих светил.
Мой Бог забыл меня – и не предупредил
Что нет воды черней мужского вероломства.
Нет череды длинней бессонного потомства,
Сжигающего дни в бесцельной суете.
Ты ночью тяжело спишь в подлунной красоте,
И только голос мой тебя во сне тревожит.
И ты встаёшь ко мне, и следуешь на ложе.
А я прошу тебя: не трожь, меня, не трожь.
Но ты во мне, как Бог, чего-то создаёшь.
Чтоб я как пёс была верна твоей руке,
Чтоб я песком была в густом людском песке.



Страсть

В семени, бьющем в излучину тайной реки,
В ярости, крепко сжимающей нам кулаки,
В боли, ломающей страхи и смыслы земные,
Есть водяное начало гниющей луны –
Все города в этот белый комок влюблены.
Все города и огромные птицы ночные.
Нету огня. Есть густая, как лава, вода
Вечной разлуки: возьми – и уйди навсегда.

Рыбаки

Выходят морскую страдаю
Бурлящую тьму осязать
И рыб, изможденных водою,
С зеленой тоскою в глазах.

Под толщею стаи как шлуги
Тревожат спокойствие вод,
Где, кроме кромешной разлуки,
Не может взойти ничего.

Щетиной в пустом океане,
Там, в глубоководном бреду,
На рыбах, на слизистой рвани
Прозрачных и вялых медуз,

Средь хищных разломов и трещин
Растёт, точно ужас во сне.

И вот уже днище скрежещет
О чёрные зубья камней,

Ломается, рвётся и стонет,
Что впору стонать самому.
Мы знаем – никто не утонет:
В глубокие канут ладони
Кормить безнадежную тьму.
Их белые кости впитают
В драконьи хребты буруны:
Из этих костей вырастает
Упрямство и ярость волны,
Везенье и счастье слепое
Луны подытожит нулём.
И рыбы под песни прибоя,
Под новым идут кораблём.

Превращение месяца

Мерцал едва. Он прятался и гас
Как маленький задумчивый фугас –
Не подорвать бы ласковое небо.
В грядущее несомы облака
Облаткой ветра, тенью кулака,
И запахами – дыма, пота, хлеба,
Случайными, как лишний леденец...
Вот он подрос и вышел, наконец,
Из раковины, где слоился снами,
Предчувствуя утробу синевы,
Где грозовые гривы носят львы,
Где радужные царствуют цунами.



На пальцах дряблых дряхлых тополей,
Усеянных звездами, как перстнями,
Повисли ветры. Нету снов. Ведь снами,
Как ватой – окна. Будто так теплой
Перед зимой, когда хрустящий снег
Облаживает оттепель дневная.
А вечером морозы проклиная,
Скользит нетерпеливый человек.
Над ним – тревожным зеркалом растёт.
И, отразив затейливый орнамент –
Я замечала часто, сотни раз –
Стал крупная жемчужина и глаз,
Подглядывающий за нами.

Артём МОРС

Сыграй мне аромат на фортепьяно, детка.
Скажи, какого цвета у человека совесть.
Ты думаешь, наверно, что тело – это помесь
Аквариума с клеткой.

Душа из тела вон, и тело разобьётся,
как именной хрусталь, и рыба задохнётся,
и птица не споёт,
или наоборот.

Успеешь ли понять, зачем все так двоится,
все соотносится, к чему все так струится,
вот человек идёт – он память, он страница,
он зверь, он дверь, он прель, колено и плечо...
и долго ли теперь, и много ли ещё.



В провинции цветёт акация,
весёлый ужас на людей
наводит то деноминация
свободы, то масштаб нулей.

Берёшь из пачки подозрение,
глядишь – оно уж пыль и прах,
в субботу – осень, в воскресенье –
белым-бело. На всех парах

стремится жизнь дойти до точки,
хромает время – тик да так,
так и стихи – за строчкой строчка,
а не допишутся никак.

Как-то проснулся в пять,
думал о том, как жить,
как себя не терять,
как себя не забыть,
на остановке как
зонтик, или ключи –
дома, я был дурак,
нет и сейчас причин
обратное говорить.

Вот переулок, ночь,
бродишь совсем один,
кажется, будет дождь,
переходящий в дым.
Родина – долгий плен,
и отсюда живым
не выбраться – Полифем
смотрит своим одним.
Делайся невидим.

Но освещает ночь
луна фонарём своим,
кажется, будет дождь.
Сам себе господин,
можешь пройти сквозь сон,
если знаешь пароль,
на остановке зонт,
в небе – морская соль,
Полифем невредим.

телефонные номера
проступают из марева:
марьяванна, сергей петрович,
мама, отец, жена, сестра,
многие – случайные и не случайные
люди, доходящие до отчаянья,
если вдруг телефон молчит.
абонент недоступен или находится – shit! –



вне вселенной сотовой связи
говорит, говорит, сам с собой говорит
и замолкает на полупhrазе.

А.А.

Алексей Константинович запил.
Вот идёт он по улице в ночь,
из-за сорокаградусных капель
не желая себя перевозмочь.
Вот идёт он по шумной столице,
деньги есть, а напитки – увы,
есть простое желанье напиться
на окраине скучной Москвы.
Чтобы снова пригрезилось море,
пристань, жирные чайки в волнах,
мало смысла в пустом разговоре,
много горечи в тусклых глазах.
Шорох гальки, с картавинкой в речи
говоренье задумчивых волн,
эта речь Иоанна Предтечи
успокоит хмельной его сон.
Вот идет он, смиренный, под богом,
недоступный чужому уму,
и луна, как звезда над дорогой,
освещает дорогу ему.

Василий ОРОЧОН

Сергею Матвейчуку

Спускается южная ночь, обряд совершая древний:
прятать воспоминания дня по глухим углам.
Он опускается в сад – прикоснуться к цветущим деревьям,
спускает собаку с цепи – не от воров, – погулять.

Он многое повидал, старик в застиранном тельнике,
с глазами, промытыми солнцем, как водой дождевой,
Очередной кандидат течёт блудословием в телеке –
он вырубаёт звук, он не хочет слушать его.

Он заслужил покой, и, в общем, ему не совестно,
что на старости лет он сыт, наконец, и согрет.
Но ночью – из года в год – сжигает глаза бессонница,
и легкие переполняет дым плохих сигарет,

и видится Магадан и бухта Нагаева,
чёрные корабли на стылой, на черной воде.
И завоет собака неожиданно-негаданно
об ещё не минувшей, уже неминуемой, беде...



В твоём саду дозревает кальвиль,
от хризантем палисадник бел.
Сколько б я душой ни кривил,
солгать не смогу ни тебе, ни себе.

Бабьего лета дремотный уют
нежит душу и радует глаз,
но холодные ветры уже снуют,
как воришки по всем углам.

Кленовый лист прощально кружит,
и пруд в мурашках – совсем продрог.
Надо как-то и дальше жить
в ожиданье весны и дорог,
когда, без груза шапок и шуб,
появится много красивых людей.

Тогда я правду тебе напишу
пером весла на солёной воде.

Жестокий романс

Разнузданное солнце закатилось
за никому не нужный косогор.
И вдруг мне резко выпить захотелось,
и мяса захотелось и сигар.

В киосках продаётся пиво «Голден»,
а также продаётся шаурма.

Я чувствовал себя кавалергардом,
намедни проигравшимся в умат.

В кармане – одинокая десятка.
Все улетело пухом с тополей.
И я прибрёл к бутлегерше-соседке,
и попросил: «Пожалуйста, налей!»

Она кредитовала мне пол-литра,
и я в гробу видал свою печаль!
Сияло солнце, словно эполеты,
на нищетою ссутуленных плечах.

Жестокий роман

Какая гадость – заливная Ваша рыба,
и самогонкой пахнет Ваш коньяк.
Слова признанья Вы найти могли бы,
но так и не сказали ни хуя.

Какая наглость – прижимать меня к дивану,
коленки щупать и за грудь хватать!
Ах, Вы могли бы погрузить меня в нирвану,
но так и не сумели ни черта.

Какая глупость – непослушною рукою
накладывать на веки макияж.
А слезы брызжут и бегут рекою,
и это всё фиксирует трельяж.



Какое счастье – возвратившись на рассвете, –
в подушку носом и уйти в туман!
По небу солнце катится и светит –
ему – по барабану наш роман.



В сумерки подкрадываются мандгадхай, похожие на мишек
Месяц, как половинка старинного трактора
Над рекою клубится туман
Видимо исподволь остывает вода
И не стрекочут жесткими красными крыльями кузнецы
А он распахнёт двери в дивную страну ветхозаветной старины
И прежде чем тронет буланого
С веток осыплет цветы
Я ему крикну: – Гэсэр, Абай Гэсэр, это ты?
В заветной шапочке, с мечом
Он там, где тесный круг родных ему людей
Постепенно тают и пропадают их очертания
Как бегущие розовые с золотом облака
И не забыть вовек нахлынувшего восхищения и очарования.

Писатели

Писатели, не постмодернисты,
А эти, как их лучше обозвать, новые реалисты
Ходили по нашей земле, крутили дацанские барабанчики,
Мочили головы из медного чайника левой рукой.
Боги и богини смотрели на писателей сквозь стекло.
Собаки подходили.
Время текло.
Иногда в толпе я видел своих
Не обязательно умерших друзей.
Они тоже были заинтересованы нашим сансарным
пешкодрапом
И застывали, как и мы, перед буддийскими чудесами.
Необъяснимые дали синели,

Цепочка лысых гор притягивала взор.
Матвей Рабданович пел из Данжура и Ганжура
И называл приезжих москвичек сёстрами.
Разноцветные тряпочки обо,obeliski
погибших автомобилистов,
Домики Нижней Иволги, нищие, собирающие монетки
в целлофановые мешки,
Кедровые орешки, продаваемые уличными продавцами
в стаканах разной длины,
Коровы, выглядывающие из нестерпимо зелёных зарослей,
Весь наш волнующийся в сетях благовоний Бурятский Этнос
И мой маленький отец, бегущий по полям с красным
самолётиком,
И гул событийного ряда – он рос и плескался из ковшика
мироздания.

Умиротворение

Матвей Рабданович сказал: «Поехали».
А он к Иволге, как Гобийский песок, чересчур жёлтый.
Оглядываюсь на Улан-Удэ, майор Вихрь.
Ветру нечего шевелить на голове.
В пожарах сюрреализма остались мои блудные одежды.
В сгущающемся сумраке упаду на колени
По велению короля Оленя.
Поставят черную остывающую, эбонитовую пластиночку
С притулившейся рощей, с мазками платочков обо.
Лес рябой,
Улыбаются чучела мертвецов, Грабовой.
Машина погружается в туман.
Слышны голоса перебегающих дорогу призраков,



Возникают в жёлтых одеждах ламы.
Их в тридцатых убили.
Дружат домами астрологи и их планеты.
Чуть милосердия, умиротворения нам бы.
Водка льется нескончаемой струёй,
Сами собой разворачиваются конфеты.
Мы с Матвеем догоняем так и не пришедшую к нам мудрость,
Как дети перескакиваем классы, года, разговоры
В рваных дэгэлах жёлтой и красной листвы.

ИВОЛГИНСКИЕ МОТИВЫ

И с губ моих готовые слететь
Слова запоздалого прощания.
Кручу на пальцах пластинки.
Нелегко расставаться с девчушкой из арбузного семечка,
Обернутой зелёными хадаками иволгинской весны.

Как одолеть разлившееся гидромелиоративное озерцо.
Подхожу к Дацану,
Глажу лапы оранжевых львов,
Мирно спящих у синих ворот.

ПОЭТЫ

Улан-удэнские поэты, окружённые советской темнотой,
Рассевишиеся, как лягушки с серебряной деньгой
У революционных барельефов

Вдруг барельефные фигуры начинают дрожать, двигаться,
подавать черные метки иным из нас.

Солярис.

Потому что кожанки, будёновки, гимнастёрки – все
без пуговиц и швов

Наганы, пулеметы, знамёна стынут в мраморном безмолвии.

Поэты кричат и берут штурмом окостеневший поезд
Сальвадора.

Плывут кобыльи корабли красных солнц.

Многорукие деревья вступают в танец с осенними
каннибалами

И одесную с ними хипповатые волхвы пьют и не могут
напиться

железнодорожной воды.

Поэты не могут проморгаться,

В их глазах мерцают полудрагоценные камни Сваровски.



Инга СЕДОВА

Вот так я всегда покоряю пространство –
хожу по квартире,
покуда душа надрывается красным
и бредит о синем.

Покуда не пишется чёрным на белом...
Не пишется, впрочем,
в последнее время совсем: с каждой темы
лишь след многоточий.

Возможно, сейчас и пространство и время –
в эпохе затишья.
И кто-то меня – серой точкой на сером –
уверенно пишет.

Всё веселее в королевстве Датском –
без Гамлета, без призраков... без фальши.

И мне уже не надо притворяться,
что я прекрасно знаю, что же дальше.

Как дважды два.

...без скорби, без сомнений.

Осталось в прошлом знание законов,
которые ведут на дно Офелию,
а Гамлета приковывают к трону.

На улице

Кому декабрь по бросовой цене?
Хороший повод обмануться: распродажа!
Меня тоска по улице размажет,
да я и не надеюсь уцелеть.

Недосыпаю, в страхе перебраться.
Мой сон внутри. В него играют дети
моих ошибок. И над ними светит
лик Магдалины секс-календаря.

Вполне декабрьская оттепель в мозгах.
Когда-нибудь глаза закроет ветер,
ну а пока безжалостная Герда
всё обещает Кая отыскать.

...Сквозь новогодие – языческий обряд –
пройти в который раз и не испачкать
ладонь смолой еловой. И на сдачу
принять грошовую бесценность декабря.



В моем Макондо дождь
уже десятки лет.
Я не ропщу, я знаю – будет хуже,
когда наступит лёд
в распахнутые лужи
и солнце, как проклятие взойдёт
холодным безучастным судьей
всем одиночествам, под жалкой крышей скрытым...
Но думаю, что жизнь
не стоит этой прыти,
с которой смерть
зовёт к себе домой.

Ста лет достаточно, чтоб ключик отыскать.
Открыть себя
навстречу миру, людям.
Но, вот досада,
ждать никто не будет!
Да и привычнее –
дождливая тоска.

И кто из нас кому-то обещал,
что будет ветер, ветер всё изменит?..
В моем Макондо дождь. А я теряю веру.
И прирастаю
к брошенным вещам.
И в прошлое, как в землю ухожу
(мне путь назад всегда казался ближе)
сквозь одиночество,
когда никто не слышит,
в такой родной, в такой дождливый шум.

Бессильное веселье – горький пир:
чума свирепствует, но страх уже иссяк.
Не оптимисты создавали этот мир,
но их заслуга, что все бабы на сносях.

И кто осудит их, ведь – по любви!
По ненависти – браки да война.
Никто из нас себя не может отменить,
и остаётся только предков обвинять.

Но хочется порой прижать к себе,
закрыть собой того, кто обречён...
Ребёнок плачет за стеной. А на стене
часы ведут бессмысленный отсчёт.

И гвоздь торчит, как приложение к часам,
веревке, мылу и записке на столе...
У оптимистов – равнодушные глаза –
Они готовы жить ещё сто лет.

И я смогу, ведь на войне – как на войне!
Больных чумой с восторгом носят на руках.
...Новорождённый плачет. Это смех
вчера повесившегося старика.



Андрей СЕМЁНОВ

Разбуженный лаем собаки
Встревоженный воем дороги
Помешанный на весне
Ташу я сомнений вериги
Там где проплывают овраги
И где утопают тревоги
В блистающей легкой воде

У нас с тобой зажглись бенгальские огни
И я сказал что это провиденье
И тихий ангел смутно пролетел
Коснувшись нас усталыми крылами

А в нашем небе полная луна
И на снегу мерцанье мысли
А в наших чашах терпкое вино
И сердце полно радости и грусти

И что нам делать если наши души
Соприкасаясь излучают свет

И в темноте увижу эту руку
Дарующую радость бытия

Рыба плывущая к нам на встречу
Обманчива и пуглива
Она смотрит внутрь
 в недрь
 в одр
Вёдра дождя
Дождутся своего коромысла
 своего смысла
 своего слова
 своего дела

Мне ведома тоска первопроходца
По шпалам нескончаемым в даль
Уходит любимая счастья искать
А я остаюсь без солнца

И только луна отражённая в луже
Меня привлекает. Но я не мертвец
Безмерно пространство. И где он конец?
Мне хочется Моцарта слушать



Но Моцарт опаздывает на три часа
Он в поле стоит без пальто и зонта
А я опоздал на столетье

А я опоздал на мгновение. Постой!
Не прячь свои очи под мрачной чадрой
Останься собой на мгновение

В дождевой тишине
Дверь становится толще
Часы чаще спотыкаются
На ровном месте
Подъезды светлее
А улицы чище
Асфальт в лужах
Дом в окнах
Я не слышу дождя
За окном тишина

ЛЮБОВЬ СУХАРЬВСКАЯ

Внезапно, словно папарацци,
Впадая от волненья в дрожь,
На жар лесов и пыль акаций
Спасительно рванулся дождь.

Пройдись, как пальцы пианиста,
По клавишам перил и крыш,
Он превратил все листья в Листа,
В Шопена – шёпот, Тверь – в Париж.

Всю ночь на улицы и парки
Из выси музыка неслась,
Как будто бешеные парки
Весёлую вершили власть.

Всю ночь журчало повсеместно
И пело голосами труб –
Слагались рокоты оркестра
Из пальцев, струн, литавр и губ...



Быть может, жизнь начать сначала,
Пока она не бьёт под дых?
О чем там чайка прокричала
В сиянье капель грозových?

По морю рыбы плывут косяком,
По небу звёзды бредут босиком.

Тропы земные и тверже, и суше –
Век свой иду, спотыкаясь, по суше.

Песню пою, бормочу ли стихи я,
Манит меня и пугает стихия –

Небо, где Рыбы плывут косяком,
Море, где звёзды стоят босиком.

Перетекая из пены в волну,
Воздух хватаю, иду в глубину,

Ты ль с головой накрываешь, вода?
Ты ли, мигая, мне светишь, звезда –

В море, где рыбы стоят косяком,
В небе, где ходят стада босиком?

Зелень морская тонка, как слюда.
Канешь в нее – пропадёшь без следа.

Исповедимы ли наши пути –
Сколько проплыть, пролететь и пройти

По морю, посуху – вслед за Христом,
Как по лучу – босиком, босиком...

Что там за голос такой неусыпный,
Чей это горн?
Кто там в лазури небесной рассыпал
Белый поп-корн?

Кто это облаком застит кудлатым
Юг и восток?
Кто в нас вселяет, большой и крылатый,
Страх и восторг?

Судьбы, как камушки, перебирает,
Взявши в персты...
Кто там рассеянно нами играет?
Господи,
Ты?!

Где-то на далёкой звезде,
Где-то на планете другой
Сеятель уснул в борозде,
Обхватив планету рукой.



Он пахал с утра целый день,
А когда настало темно,
Он в земную влажную тень
Бросил золотое зерно.

И заснул – не бог и не бес.
Зерна светляков улеглись...
И над ним в просторе небес
Звезды светляками зажглись.

Анна ЧЕРНИГОВА

Устала

Устала... Устала носиться по встречным.
Устала смотреть на бегущие ленты
Дорог незнакомых.
За чистым и вечным
Бежать от тепла сумасшедшего дома,
В котором живут старики и студенты...

Я помню, как вы про меня говорили:
Мое подсознание – древняя книга,
Открытая глазу.
Но на суахили
(Язык вы узнали, я думаю, сразу)
Читают сейчас только дети индиго.

Устала безумно... Я больше не стану
Твердить вам, что сказки важнее эпитафий.
Я завтра уеду
В далёкие страны.
А вы... Ваш удел пеленать себя в пледы
И биться в скорлупках своих биографий...



Упадёт с языка, разлетится мое «извините»,
И в фарфоровых чашках дрожащие ложки заплачут.
Первый росчерк весны – пожелание вечной удачи,
Свет течёт по рукам – значит, солнце осталось в зените.

Не смотрите на город, я дочь его, я его Слово.
Он в унынии горбит свою стариковскую спину,
Потому что хотелось, наверное, все-таки сына,
А не совести в образе девочки пустоголовой.

Вы напрасно летите ко мне, вы играете в прятки.
Я весну отмечаю как равную – в этом всё дело.
У нас общие взгляды и, может быть, общее тело,
А ещё она мчится вперед, как и я – без оглядки.

Вера

Если верить в меня,
я смогу обогнать
время.
Барабанную дробь чьих-то судоржных сердцебиений
я сумею принять, как свою,
если хочешь – как нашу.
Просто верь в меня.
Даже Грааль – только медная чаша,
даже дождь – только насморк немного озябшего облака,
если ты в них не веришь...
Без веры и я бы продрогла, как

тонкокрылый птенец, с головой окунувшийся в воду.
Его солнце потом расцелует – птенцам оно внемлет!

Поцелуй меня в лоб, разомкни тополиные своды,
И с улыбкой представь
что целуешь в пупок
Землю...

Дом поэта

Здесь все не так. Не так отчетливо
Звучат шаги, стреляет эхо;
Не так порочен путь до грехо-
Падения; не так заботливо
Промокшие слова развешены
На рвущихся верёвках строк;
Не так безбрежен потолок
И трещина не так уж бешено
Стремится выползти на стену.
Здесь роковая тишина
Готова преклонить колено
Пред резким грохотом окна
И шум разрезать на полоски,
Услышав, как вздыхает дом
И входит вновь в дверной проём
Живой
Владимир
Маяковский.



Я ненавижу заводить знакомства.
Была бы только тонкая рука,
Ведущая тебя, как дурака,
От христианства к идолопоклонству...
Так нет: ещё есть колкость языка...
Ещё есть смех... Есть мокрые ресницы,
В них совести уютно было скрыться,
Чтобы глядеть на всех исподтишка...

Я ненавижу пьяных и курящих,
Укутавшихся в серый дым плащей,
С их жутким рвением видеть суть вещей.
Их пульс не станет реже или чаще,
Пройди я мимо трезво, шатко, валко,
С холодным торжеством провинциалки,
С тоской, присущей всем вперёд смотрящим.

Максим ЧУЛАСОВ

Контрасты

Девяностые годы меня зарезали.
Весь в крови я той ночью приплыл домой.
А на утро врачи пригласили слесаря,
чтоб он вскрыл снаружи замок дверной.
Я лежал с телефоном, пытался встать,
но, кружась, голова отклонялась вспять.

Мне казалось, что нет ничего серьёзного:
раны вымоют, намотают бинты.
Опроверг меня доктор вердиктом грозным:
«Через три часа был бы мёртвым ты».
Воздух с кровью и слизью – он прав, поди –
взял и выдохнул я из дыры в груди.

Еле-еле во двор на носилках вынесли –
два десятка зевак преграждали путь.
Что ты смотришь, старик? Лучше б ты подвинулся,
мне б быстрее в больницу – себя вернуть.



Погрузили в уазик, закрылась дверь.
Я над каждым ухабом ревел, как зверь.

Медсестра как всегда: в кино сниматься ей.
«Оставьте хоть плавки! Не смотрите туда!».
А через неделю, стояя в реанимации,
сам я буду просить её без стыда
обезболить в ягодицу, унести мочу.
Про другие дела я вообще молчу.

В операционной над окровавленным
телом сгрудились Гиппократ и Ко.
Это те, которые жизнь давали нам,
мёртвым, на протяжении веков.
И вот поделился со мной один
Склифосовский жизнью, введя морфин.

Словно белые ночи пришли из Питера:
улетучилась тяжесть, погибла боль.
Ничего сногшибательней не испытывал
я с тех пор, как впервые убился в ноль.
Переход не из мира в Эдем, но всё ж
он контрастом с последним уж точно схож.

Так и мыслил, пока не заснул под скальпелем.
А потом анестезиолог вдруг как даст
по щеке (другую подставлять не стал бы ему),
и обратный тому наступил контраст:
словно, склеив не склеиваемые куски,
поместили зыбучую вещь в тиски.

Где Ленин встал навсегда, я возвращался с базара.
Цветы с подножья вождя одна девчонка бросала.

«Её наставники – мразь», – в груди рвануло ракетой.
Приостанавливаясь, сказал я девочке этой:
«Зачем у Ленина ты венки с гирляндой разбила?
Верни обратно цветы, пускай всё будет, как было».

Её мгновенно привёл в себя суровый мой голос,
и, как актрису гримёр, я изменил её образ:

она румяной была, но стала бледной, как тесто,
когда всё подобрала и положила на место.

А за окном разбили парк современный.
Авторитняк лопатой будет грести.
Тут, если не произойдут перемены,
деревьям вырасти, доходам расти.

Захлопнул дверь азербайджанец-прораб. Как
семья охотника – добротную дичь,
бригада айзеров в оранжевых тряпках
его расхваливает новый «Москвич».

Бугор достал бутылку водки и закусь.
Единоверцы обступают капот,
и вот по кругу из горла эту пакость
за сто рублей глотками гонят в живот.



Они счастливые. В порядке у них всё.
На смерть пошли б за своего короля.
И то, чем Ницше или кто там проникся,
от них далёко, как родная земля.

С проигнорированными позывными
владелец парка и смотрящий в окно,
мы с разных точек наблюдаем за ними:
сигнала два, но поражение одно.

Ради вида комнат восхождение на этаж
покинувших улицы в долгожданный рабочий день.
Протогтанными ступенями под сенью перил.
С охапкой баранины из платного ледника.
Раздевшись до кожи, загорать под лучами люстры.
Включить костёр на микроволновой почве.
Совершить заплыв в душевой кабине.
Разложить одеяло колышками дивана.
Смаковать свежий телевизионный пейзаж.
Уснуть уставшими от дневных трудов.
Завтра опять домой на недельный отдых.
В сарай офиса мастерить матрёшки.
На грядки проспектов полоть прохожих.
В автосервис – подковать копыта.
В казино – опорожнить кишечник.
Шесть дней Субботы:
созерцания жизни в её божественном варианте

Painkiller

Кусая изредка бутер (колбаскахлебогурец),
играл я как-то в компьютер, попал в старинный дворец.
Везде валяются туши инопланетных верзил
(я, как заметил их, тут же зело красиво сразил).
Вся грязь, как водится, тает в игре осколками льда:
мечта, которую Tide не воплотит никогда.
Брожу, как призраки бродят, уже пятнадцать минут.
Наружу выхода вроде не наблюдается тут.
Ошеломляет жиплощадь! но сплошь закрыта зато,
и отворяться не хочет. В бреду я думаю, что
в таком классическом зале небезопасен футбол:
места, где трупы пропали – сложились в каменный пол.
Где выход, а? Я игрок, но... я не слуга-половой!
Прямоугольные окна в трёх метрах над головой.
От пота взмокла рубаха. Гремит знакомый орган:
для композитора Баха подобран верный экран.
И только отблески солнца о чём-то внешнем твердят:
на каждого марафонца пришёлся жёлтый квадрат.
На мой вопрос не ответ ли «как там природа вовне?»
тот факт, что тёплый и светлый квадрат висит на стене?
Под солнцем голубь воркует. Прозрачный тянется пруд...
Всё, что угодно в округе, понять не станет за труд.
Мой самый лучший писатель – застывших зайчиков сеть.
Чтоб видеть, необязательно, как оказалось, смотреть.



Сергей ШАРШОВ

Музон...
для этой сцены мне необходим музон...
можно цыган...
или русские романсы...
а-ля эмиграция...
шансонеток...
канкан...
чтобы читатель... почувствовал атмосферу...
чего-то забубённого...
и пропащего...
понимаете?
это необходимо...
можно вальс...
танго... можно...
и вообще... что хотите... веселое такое... бравое...
жизнеутверждающее...
и всё цветное конечно...
всё цветное...
это фон...

теперь – я...
нечто артистическое... но – вдрызг...
что очень понятно... жизнь прожита... и ни хрена...
начинающим... конечно... это может быть... неприятно...
но – вдрызг...
почему... артистичен?
потому что... во мне... было... было...
был потенциальным... был...
тут щурься-не щурься... что-то зря... было...
зря...
и вот меня спрашивают...
смысл вопроса... примерно... такой: «на какой чёрт?»
а я просто в хохоте...
я не отвечаю... я в музоне...
я отделяюсь шуточками...
но аристократ... понимаете...
единственная зацепка... «аристократ»... не плюнешь... видно...
это и интересно...
их же вырезали...
я вообще – случай... патология какая-то...
потому что... к тому же я... и бестолочь...
мне плевать как я выгляжу... надоело...
О Гегеле я говорю:
«Красиво...
красиво, сука...»
тут и восхищение и сарказм сразу...
а я неуч...
я ничего фундаментального не написал...
да и не учился никогда...
так – порода...
хотя у меня предки сплошь вятичи и каторжане...
кто на Дон... а кто в Сибирь... нарезал...



от тогдашней российской действительности...
а вот напялили на этого каторжанина фрак...
познакомили с Гегелем...
он и захохотал:
- Красиво, сука!
аристократом стал сразу... дегустатором...
для него вся эта философия... ресторация... где он мот...
и рубаха-парень...
есть окололитературщина...
а есть околофилософщина...
и вот он идёт... по ресторации... весь пьяный... с бокалом
в руке...
а в общем-то свой...
Шеллинг посмотрит...
Гегель усмехнётся...
свой парень...
одно неприятно: на какой собственно чёрт?
и вот его (меня значит) спрашивают: «Зачем?»
зачем именно здесь... в этом благороднейшем обществе...
устроить этот балаган?
если вы литератор – будьте литератором...
если философ...
а я в хохоте...
я в музоне...
мне нравится как ловко танцуют...
вообще весь этот бардак...
я спился...
очень много... понимаете... всего...
очень...
много...
делёж даже:
это оригинальный мыслитель...

это неоригинальный, но...
это оригинальное учение...
а это...
сплошной маньеризм... эпатаж... конкуренция...
а у меня ку-му-ля-тивность на всё это...
я раньше полагал... что эклектик я...
а сейчас вот узнал... что это ещё кумулятивностью
называется...
хотя я и подозревал... всё это дело...
что не так-то просто я эклектик...
что тут что-то такое есть... очень объективное...
потому что это действительное положение вещей...
какой-то принцип дилетантизма...
будь ты Кантом... или Лейбницем...
ибо познаешь именно ты...
можно конечно познавать и от имени какой-то теории...
но это не меняет дело...
даже усложняет...
и тут я согласен с Соловьёвым...
что философия «дело личного разума»...
главное высказаться... а как... в контексте чего:
городить для этого контекста целую систему...
зачем?
как показывает исторический опыт...
ни одна система...

Представьте комнату где книги... книги... книги...
все в золотых тиснениях... все рядом... и привидение...
и заспанный профессор:



– Я вас не понимаю... Что вам надо?
– Я привидение...
– Ах, да!.. Какого века?
– Я, право же, не помню... но, пожалуй,
в пределах ваших знаний...
– Что ж... прекрасно...
Мне надо уточнить один вопрос...
Я верил... Верил... Вы располагаетесь...
Вам, может, кофеею?.. а, впрочем, есть коньяк...
Употребляете?
– ...хотя не столь и часто...
Премного благодарен... Значит, к делу?..
– Я звал к себе всю мощь воображенья...
Я звал к себе коллег из мрака чисел.
И ваше посещение...
– Не стоит... Так в чём же заключается вопрос?
– Вы, верно, помните весь текст Священной Книги?
– О, нет... я, в общем-то, не помню ничего...
Так, основные постулаты... принцип...
– Но как же так!? Я столько лет... я сед... и...
– ...надобно смириться с этим... Всё очень просто...
– Не поверю! Нет! Последний лоботряс и я...
– Равны... а вы, к тому ж ещё, равны излишне...
Вы понимаете?
– Кон-нечно! Да-а... я слеп... Был слеп...
Вы, верно, шалопай большой, но я-то!
Я столько раз задумывался сам...
что если... это отговорки... а не знание...
что если – бред испуганной души... познавшей истину...
веление познавшей... и убоявшейся идти...
идти и жить?
все эти комментарии... раскладки...

Испуг... который... боже! лечат бабки...
какая-то нелепая волшба... а впрочем – сказки...
дети так мудры... им всё понятно...
мы для них – велики... Наш образ... Замысел хорош...
Какой зачин! заметьте сей нюанс... Он вдохновляет!..
а что бы, если б сразу говорили – мы – черви...
мы – продукт... не говорим! любовь мешает...
боязно за них...
пусть будет мир прекрасен!
значит, знаем... что занимаемся не тем,
чем мы должны... и продолжаем заниматься, зная...
за веком век... круги, круги, круги...
то – легкий путь... легко и ненакладно...
предмет нам чужд... особенных рефлексий,
страданий... он не вызовет
и, так что, тут можно городить и городить...
Широкая дорога, милый друг,
когда был молод... я смотрел на это,
как на огромные возможности свои...
Но вот явились вы... мы пьём коньяк.
и что я буду говорить им утром?
– Я, право же, себя уже виню...
– Для привиденья... это очень странно...
Но всё равно не надо... быть сему...
Сыграйте лучше, друг мой, на бандуре...
Вы – бандурист?
– Да, банда «Ла Когуль»...
– Так, вы – Вийон, который...
– Был поэтом?
Однако – жизнь, она ведь... вот – брожу...
И, даже вот – приходится с кастетом:
Ночная публика, ночные randevu...



Так вы пойдёте?

– Да, да, да! Конечно! А сколько нас?

– А сколько захотим...

Хотите, свистнем всё Средневековье?

В окошко гляньте: прошлогодний снег!

А сыплет как! Отныне – только Вечность...

ни следствий, ни причин... мы у Творца,

сначала страшно, но потом – смеёшься...

Он – приколист, он любит чудеса...

И, в общем-то, смиряешься, что – тоже...

И если скучно – значит не туда...

– А, я-то! Я-то!

– Он непредсказуем.

...ещё диктатор... римский император

повёл войска, мятежный, обещая

о благе что-то (вечная нехватка)

но вместо чудищ грозных и всеильных

на барельефах – он... он понемногу...

он победил... стал полубогом... после

когда умрёт – он будет бог в законе,

откроют храмы, что довольно лестно,

но бремя неофитства, мысль о смерти...

Эсхил о роке говорил страдая...

Эдип Софокла...

Ох, уж эти греки...

И тут стремясь постигнуть – обошли...

И корчится Макбет объятый смертью,

и пляшут ведьмы – пузыри земли...

Я перерыл историю народов...

Сирия это нечто провинциальное...
какая-то глушь...
будь то глушь эллинизма
или глушь чего-либо иного
...при этом это нечто светлое...
нечто освещенное...
освещенная земля...
у неё чисто физические законы...
...поэтому сирийцы сами по себе очень забавны...
какая-то нелепость в них...
эту нелепость обычно называют самобытностью...
это очень смешно...
добродушие появилось именно в Сирии...
это не изощренность ума...
а какая-то профанация изощренности...
быт ума...

сирийцы неожиданны...

Карбонарии падали с крыш

*(из записных книжек Вара Квинта Гая
Мороковского)*

Королевская охота. Всадники. Собаки.
И вновь, в который раз, (это уже, как бы, какое-то
наваждение) человек, лежащий в грязи.



Король спрашивает: «Кто это?» Ему отвечают:

«Философ Такой-то».

Король пожимает плечами: «Никогда не слышал.

У каждого философа есть понятие:

у Шопенгауэра – «воля», у Ницше – «аристократизм»,

у Бергсона – «память»...

- А у этого «фокус», ваше величество...

- Но должны же быть хоть какие-то ориентиры!?

- Должны... А, Б, В, Г, Д...

Кто-то работает с мрамором, кто-то с бронзой,

с деревом ...

Я работаю исключительно с депрессией.

АЛЕКСЕЙ ШМАНОВ

Светила полная луна
и не было греха
ни в том, что ты была пьяна,
старуха, дрянь, труха,
ни в том, что мир похож на бред,
навязчивый, больной,
и что Творец эксперимент
поставил надо мной...

Светила полная луна,
как третий глаз совы.
В паденье, выпитом до дна,
был привкус трын-травы,
и страсть была, и страх, и грех...
но не было греха!
И ты была желанней всех –
старуха, дрянь, труха.

Потом и целый мир до дна,
до матки осознать



я возжелал, и мне дала
блистательная блядь.
Гримасничая, как сатир,
в вагину из огня
вошёл.
В ответ подлунный мир,
как нож, вошёл в меня.

Стрижи кружили на высоте
пятиэтажного здания.
Ты, как подвешенный в пустоте
под низким небом меж знанием
о смерти, о похоти, прочей тщете
и нежеланием знания.
Стрижи кружили на высоте
утраченного сознания.

Окно зияло, будто дыра
в чужом измождённом теле,
а дождь, зарядивший ещё с утра,
накрапывал еле-еле.

Ветром его заносило в проём
отверстый. В промозглом мире
мы были одни, точнее, вдвоём
в полупустой квартире,
чужой, снятой на энный срок,
равный остатку срока

существования, видит Бог...
Не было с нами Бога.

Но были смятение, страх и мрак,
просвета не предполагали.
Стрижи кружили не просто так –
не сеяли и не жали.

1

Закат прожёт на небесах дыру.
Пацан с увеличительным стеклом
спросил меня: «Три – три, что будет?»
Тру
и – ничего, хоть о скамейку лбом,
зелёную, изрезанную сплошь...
Пацан опять с вопросом, как с ножом
(а был ли нож?): «Ты знаешь, что умрёшь?»
«Я не умру», – ответил.
«Это ложь», –
поймал увеличительным стеклом
последний луч (ну, что с детей возмёмшь?)
и на Восток направил под углом,
тупым и неделимым пополам,
и – полыхнуло (было ли стекло?)
Лазурный шёлк обуглен по краям.

2

Лазурный шёлк обуглен по краям,
и я впервые что-то сделал сам:



я вдел в иголку нитку и зашил,
пусть неумело (мне всего пять лет),
и дальше жил.

Ну, что мне пацанва?
Сияло солнце, мягкая трава
ласкала ступни в дырах сандалет,
от запахов кружилась голова...
Я был подобен миру и богам,
а смерти – нет...

Исповедуемся попутчицам,
в лучшем случае пьяным друзьям,
второпях, на бегу, как получится,
обходя стороною храм.

Я не верю в Тебя, не верю я,
но срывается с губ сухих:
Помоги моему неверию,
помоги!

Но Тебя, прости, не восславлю я
за случайную радость дышать.
Не дотянется до православия
исковерканная душа.

Двери храма, я знаю, не заперты,
но дозвожь мне в свой срок умереть
на заплыванной пыльной паперти,
у дверей.

Кристина ЭБАУЭР

300 слов о вечном

и не так чтобы очень надо тебя с тобой за тебя о тебе и дальше по нисходящей просто как-то устала гладить губой губой и не слышать ни звука прячась в картонный ящик нахожу там других таких же ушедших в дзен изрисованных акварелью незимних будней и чем ярче я помню запах постельных сцен тем ты громче кричишь не надо давай забудем открываются окна чинно сигают вниз одинокие девочки с длинными волосами и глазами бегущих с тонущей шхуны крыс и слезами прощепрощения под глазами а я буду смотреть на медленный их полёт открывая в себе способности экстрасенса и не помнить что где-то кто-то возможно ждет и когда мне в последний раз так хотелось секса и не так чтобы очень просто рука дрожит одинокие девочки падают дольше века и теперь-то я точно знаю что ты не жив это только твоё лицо прилепилось к векам так что даже закрыв глаза я смотрю в тебя о тебе за тебя и дальше по восходящей одинокие девочки падают и скорбят обо мне не умевшей



жить и залезшей в ящик а по ящику вновь японское анимэ в телефоне забытый голос забытых истин и я слишком близка к тому чтобы онеметь одуреть и родной XP заменить на висту изломать себе пальцы и разорвать блокнот завести себе прорву диких сиамских кошек и на пару мгновений вылететь за окно и на пару мгновений стать одинокой тоже только волосы жаль не длинные как у них и внутри ни слезинки значит полет нормальный предсказатели апокалипсисной херни и любители неизученных аномалий будут ждать возле дома с камерами LG диктофонами измерителями давлений одинокие девочки тоже мечтают жить и поэтому не спешат завершить паденье и не так чтобы очень просто хотелось есть и вернуться в свой ящик к выкрашенным буддистам только даже за лето набранный лишний вес не помог в этом деле падать легко и быстро

Next

это «детка-мальшка-зайчонок» сидит в позвонках
и гибает мне спину
давай уже что ли по-взрослому
«я» напишет стихи на своих располневших руках
«ты» пойдёт погулять и похвастаться новыми кросами
это шиза всех шиз обреченные любят смотреть
на несчастья других и на то что осталось от города
«ты» рисует меня выдавая за автопортрет
«я» глотает таблетки и сны проползают от горла до
потайных уголков где-то между сейчас и потом
развлекаясь по полной программе и полными силами

«я» вдыхает тебя обожженным засосами ртом
«ты» выносит мне мозг своим «сука какая красивая»
это море морей незаконченных фраз и слогов
отдавая почтение крышам здоровым и едущим
«ты» забудет сказать что сегодня уходит к другой
«я» забудет страдать и стрелять себе в голову
следующий

Линии

Отчаянье и вдоль, и поперек
разрежет души, вытрясет до капли
и с любопытством полудохлой цапли
через плечо заглянет в омут строк.
Не бойся, милый, не пришел наш срок.

Мы будем ждать в привычной тишине,
сдирать судьбу с израненных ладоней,
чтоб стала боль во много раз бездонней,
бесчеловечней, яростней вдвойне.
Не вздумай, милый, не беседуй с ней.

Она способна заболтать до лжи,
до веры в то, что нас не существует,
она убьет, приговорит к родству, и
ты будешь рад, что вовремя не жив.
Не надо, милый, хватит, не смеси,

не говори о вечности миров,
о снах, любви – измученные темы.



Мы были теми (или станем теми),
кто мир менял, лишь взявшись за перо.
Отрубим, милый, судьбы топором.

Мы бы стали ещё невинней!
...смейтесь, смейтесь...
Коли нет на ладонях линий –
нет и смерти...

A Wish of Happiness (в качестве последней точки)

*Слышишь, мои стихи никуда не делись,
не исчерпались, вылезли напоказ...
Если из этой жизни ушел Арт Дэвис,
это ещё не значит, что умер джаз.*

Это ещё не значит, что нас заткнули, что я непременно
что-нибудь да угроблю...
и Купидон, сменивший стрелу на пули, нас провожает
в рай барабанной дробью.
Ты меня помнишь ветреной и лихой.
Я потерялась в мире чужих грехов.

Я засыпаю где-то вблизи Стокгольма, я просыпаюсь
где-то внутри Парижа.
Если сегодня утром немного больно, это ещё не значит,
что ты не выжил.
Ты ведь сильнее каких-то там обстоятельств.
Ты ведь святой, практически настоятель.

Я подружилась с глупыми атеистками, я заразилась
модно-попсовой Францией.
Значит, меня теперь не узнают близкие, после такой
пластической операции.
Мне изменили внутренность и лицо:
голос Пиаф и губы Софи Марсо.

Но, продолжая слушать твои пророчества, но,
продолжая пальцы сжимать до хруста,
я чересчур пресытилась одиночеством и перестала
верить романам Пруста.
Я запиваю боль от молитвы виски –
не получилось правильной атеистки.

ты из самых из тех кто не видит других насквозь
ты из самых из тех кто бросает и предаёт
ты забудешь дышать и опять оплывёшь как воск
как лёд

меня девочка Майя учила вчера ходить
меня девочка Майя учила курить траву
удивляясь что я вот с такою дырой в груди
живу

и она говорила что ты потерявший стыд
говорила что глух что назойлив что пьян что гол
и стоишь на краю сбывающейся мечты
с другой



Недарованные

«Понаделанным детям не хватит имен»

Вера Бутко

Холодно, нож в спину, в лицо ветер,
в голову пуля – а я всё равно иду,
чтобы моим пока не рождённым детям
в следующий раз хватило имен и душ...
чтобы всем тем, кто мог быть для них отцами,
было, кого любить и кого бросать.
Я уступаю право – давайте сами,
дети мои, ищите себе отца.

Только мой сын кричит перед сном «боюсь!»,
только мой сын врывается мне в плечо.
Маленький мальчик против земных союзов,
маленький мальчик хочет поспать ещё.
Он не умеет верить и ждет подвоха,
он не привык к объятьям и теплоте...
Господи, пожалей! Ведь ему так плохо...
...дай же мне недарованных мне детей...

Небо с утра нахмурилось и просело –
дети играют в игры на жизнь и смерть.
Дочь моя видит мир обречённо-серым,
странным сплетеньем страха, счетов и смет.
Дочь моя пишет письма на окнах вязью,
дочь моя пишет письма о красоте...
Господи, не мешай этой нашей связи!
...дай же мне недарованных мне детей...

Слышите, я ведь знаю, что небо близко...
я обещаю, что сберегу вам жизнь...
Старший – Серёжа, младшенькая – Алиса.
Боже, ты можешь судьбы в одну сложить!

Холодно. Ветер в спину. Дышать. Мало.
Господи. Дети. Эти. Родные. Лица.
Я понимаю. Если меня. Не стало.
Значит и им. Теперь. Не судьба. Родиться.

Дети мои надеются стать повстанцами,
чтобы их каждый знал и любой боялся...

«Мамочка, не грусти! Вот представь, останься мы,
кто бы нам поправлял тогда одеяльца?»



Сергей ЭПОВ

АЛФАВИТ13

Прощайте, красавица и чудовище...
Кислород в баллонах уже кончается.
Океан нас не хочет и он прощается.
Он не хочет в нас разглядеть сокровище.

Пусть другие друзья зарастут ракушками,
Пусть волна методично шлифует стёклышки.
Мы с тобой на рассвете расправим крылышки,
Небеса занавесим платьями и рубашками.

Моя любимая Кана Галилейская...
Любовь наша – чудо, превращённая в вино вода.
Когда жизнь ветшает галантерейная –
Надо просто бросать всё, идти туда.

По дороге очистимся, как прокажённые...
Мы дойдём до конца и вернёмся назад.
Так и будем друг в друге идти отражённые.
Только вечность спустя, нам захочется что-то сказать.

Когда сны перестают сниться –
Что-то в жизни перестаёт сбываться.
Если платья не будут шиться,
Если ткани не будут сшиваться –
То мечты перестанут срастаться.
Будет не во что одеваться.
И захочется удавиться.
А захочется удивиться –
И уже не получится больше.
Хорошо на свет появиться.
А потом пожить. Да подольше.

Опираясь на собственную ключицу,
Вдоль стены в темноте пройдите и свет включите.

Одиночество – тренинг – долбите грушу...
Я люблю тебя, выворотивший душу

Наизнанку... на имя... на названное... Изнанку
Чёрной тучи уже я вижу... Кармен, испанку...



Смерть... не смей смерть пытаться трогать...
Как в Портье... где Шарлотта и Дирк... Дирк Богарт.
Я люблю... блюз... тебя... Лед Зепшелин...
То есть, первый, второй... ну, а дальше – классика.
ЛСД – леденец – дирижабль – сизый селезень...
Остаётся любовь... остаются Хосе и Пласидо.

Поэзия круче ЛСД героина и кокаина
Из Грозы выплывает Чулпан Хаматова Катерина

Она кричит расставляя руки как каратистка
ПОЧЕМУ
ЛЮДИ
НЕ ЛЕТАЮТ
КАК ПТИЦЫ
как не артистка

Она испуганно скандирует без романтического кокетства
У бедной Чулпан Катерины было бесчеловечное детство

Когда страна как закрытый военный город
Но ты почему-то им горд и он тебе странно дорог

И нам дана речь но мы говорим языками разными
Поэтому кажемся часто друг другу опасными

И вот Чулпан Катерина сыграла в Офелию
И стала поэтом, точнее превратилась в амфибию.

Вот за мужчиной то же самое слово произносит женщина
Это уже совершенно другое слово произносит женщина

Вот за мужчиной то же самое движение делает женщина
Это уже совершенно другое движение делает женщина

И дело не в том что никто не знает что у неё на уме
И не в том что оба её полушария пашут одновременно
В неизвестных направлениях кстати мы на Луне
И это инопланетное сумасшествие неизменно

Я понимаю не надо устраивать из квартиры мемориал
Потому что становишься маргиналом и говоришь я маргинал
Насколько хватит дыхания вниз или вверх вертикаль
Где остановишься там остановка горизонталь
Капитуляция сход где моя Рифеншталь

Песнь Песней

Черна я – говорила ты,
Дрянь, дрянь, дрянь, влюблённая дрянь – говорила ты.
Где та, кого я люблю?
Где спит она в полдень?
Где спит она вообще и сейчас, вот сейчас?
Только представлю – с ума сходить начинаю.

Напоролась на меня городская стража,
Избивая, била меня усердно.
Куртку забрали.



Сестра наша мала,
Росту сто шестьдесят пять сантиметров,
Весом сорок два килограмма.
Я очень люблю её – любимые мои сорок два килограмма.
И глаза её широкорасставленные голубые,
И подбородок её, выдвинутый вперёд,
И рот её маленький, бледные её губы.
Ума Турман не сестра ей.
И она красивей её.

Я придумаю для тебя жизнь.
Я придумаю для себя смерть.
Я не буду тебе мешать.
Будет всё у нас хорошо.

Всей-то мебели – электрический стул.
Сколько способов убивать!
И у нас есть торговый центр.
Но не надо нам самолёт.

Я на самом деле такая блядь,
Что моя любовь – для меня казнь.
Всех красивых девушек – в паранджу.
Будет всё у нас хорошо.

Это мелодрама, Серёжа...
Это ни на что не похоже...
Я уже свихнулся похоже...
Надо с двойником быть построже.

Он, двойник, не разбирается в людях –
В богачах, ушах игольных, верблюдах,
Он не верит в гениальное чудо,
Он такой же психопат, как Иуда,

Он предатель, не поверивший в счастье,
Он браслетик защелкнул на запястье
И на щиколотку бирку повесил...
От того-то и Серёжа не весел.

Кому суждено быть повешенным – тот не утонет.
Вот и мы – в воде не тонем и в огне не горим.
Пусть себе пузо вспарывает японец,
Новый Нерон поджигает неновый Рим.

Заасфальтирован Стикс и Харон за Лимбом.
А Рубиконы теперь на каждом шагу.
Вечером – рай: коньячку нальём и заварим липтон,
Сядем поближе к адскому очагу.



Мне бы хотелось сейчас заворачивать дождь.
Но пока что он заворачивает меня.
Засыпая за ужином, вилку роняю – гость?
Кому-то опять не хватило дня?

Моё общество – ветер, огонь, вода.
То есть ветер, костёр, река.
Долгих дней бесконечная чередка.
Несходящиеся берега.

Дамаск

1. Зачем говорить: «Вот я, Господи»,
Если Бог не спрашивает тебя?
Сколько прислушивающихся к поступи
Апостолов – из ослепивших себя

Ждущих... в пути... чтоб продолжить движение
Или бредущих по кругу гуськом.
Нам только смерть возвращает зрение –
Яростно. Радостно. Целиком.

2. Сияющий Дамаск, слепая поступь Савла,
Простое осязание руки,
В которой быть могли папирус или сабля...
Фанатиков – их нет. Есть дураки.

Как избранный сосуд – всегда и в главном тот же,
Любивший Бога более всего,
Был выше всяких правд и человеческих тождеств,
В сём мире не искавший своего.

Прекрасный фарисей! Гнев праведника, кодеш –
Сугубейший филътрат, элита из элит.
И – кажется – конец. Но тут-то и находишь,
И оживаешь там, где был убит.

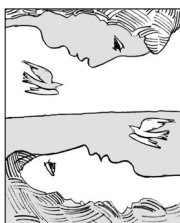
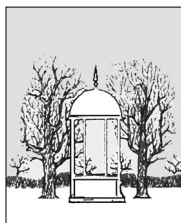
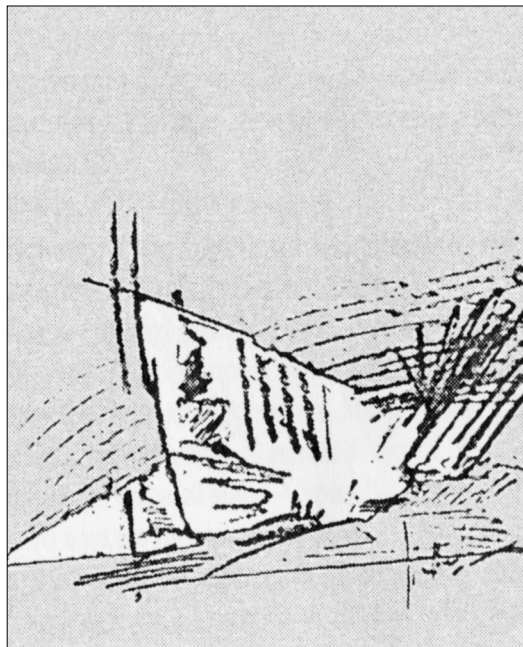
Как яростно был добр безумнейший апостол,
Которого и мог направить только Бог.
От большинства князей – остался лишь апостроф.
Распятый на кресте – оставил нам любовь.

Алфавит-13

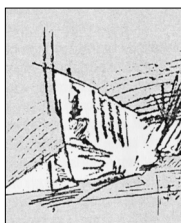
Я люблю я люблю дождь зимой
Я люблю я люблю снег летом
Потому что и лёд это тоже зной
А жара всегда пахнет снегом

Нетерпение испаряет меня всего
Я смотрю сквозь тебя и тебя лишь вижу
После «ВСЁ» сразу точка и ничего
Ненавижу Прости Ты во мне Не ближе

Новый фестиваль



ИРКУТСКОЕ
ВРЕМЯ





Максим Амелин, Москва
Александр Кабанов, Украина
Бахыт Кенжеев, Канада
Виктор Куллэ, Москва
Юрий Лорес, Москва



Максим АМЕЛИН

Долго ты пролежала в земле, праздная,
беспользная, и наконец пробил
час, – очнулась от сна, подняла голову
тяжкую, распрямила хребет косный,

затрещали, хрустя, позвонки – молнии
разновидные, смертному гром страшный
грянул, гордые вдруг небеса дрогнули,
крупный град рассыпая камней облых,

превращающихся на лету в острые
вытянутые капли, сродни зёрнам,
жаждущим прорасти все равно, чем бы ни
прорастать: изумрудной травой или

карим лесом, ещё ли какой порослью
частой. – Ты пролежала в земле долго,
праздная, беспользная, но – вот оно,
честно коего ты дождалась, время, –

ибо лучше проспать, суетой брезгуя,
беспробудно, недвижно свой век краткий,
чем шагами во тьме заблуждать мелкими
по ребристой поверхности на ощупь,

изредка спотыкаться, смеясь весело,
проповедуя: «Всё хорошо, славно!» –
потому-то тебя и зовут, имени
подлинного не зная, рекой – речью.

Опыт о Неаполе, сочинённый через полгода по благополучном из него возвращении

Зверь огнедышащий с пышною гривой,
серпокогтистый, твой норов игривый
не понаслышке знаком
всем, кто, вдыхая гниения запах,
некогда мызган в чешуйчатых лапах,
лизан стальным языком,

дважды раздвоенным, всем, кто копытом
бит по зубам и пером ядовитым
колот и глажен не раз
больно и нежно, кто чувствовал близко
испепеляющего Василиска
взгляд немигающих глаз,

взгляд на себе. – Никаких предисловий,
лишь заохотится мяса и крови,
зев отверзается твой



и наполняется плотью утроба
плотно с причмоком, – навывкате оба
только не сыты жратвой

ока; бывает: ни рылом, ни ухом
не поведёт, расстиляется пухом,
кротко виляя хвостом. –
О Государство! не ты ли? – Повадки,
взлёт ли стремя, пребывая ль в упадке,
те же, что в изверге том, –

разницы нет никакой. Поневоле
тыщами слизью набитых: «Доколе!» –
во всеуслышанье ртов
жертвы б во чреве твоём провещали.
(– Если тебе не хватает печали,
я поделиться готов.)

Мне хотелось бы собственный дом иметь
на побережье мёртвом живого моря,
где над волнами небесная стонет медь,
ибо Нот и Борей, меж собою споря,
задевают воздушные колокола,
где то жар, то холод, никогда – тепла.

Слабым зеницам закат золотой полезней,
розовый, бирюзовый, и Млечный путь,
предостерегающий от болезней,
разум смирная, чуткий же мой ничуть

не ужаснётся рокотом слух созвучий
бездны, многоглаголивой и певучей.

Сыздетства каждый отзыв ее знаком
мне, носителю редкому двух наречий,
горним, слегка коверкая, языком
то, что немощен выразить человечесий,
нараспев говорящему, слов состав
вывернув наизнанку и распластав.

Что же мне остаётся? – невнятна долу
трудная речь и мой в пустоту звучал
глас, искажаясь, – полуспасаться, полу-
жить, обитателям смежных служа начал,
птице текучей или летучей рыбе,
в собственном доме у времени на отшибе.

Стихи ли слагаю, Венеру
ласкаю ли, пью ли вино, –
во всём осторожность и меру
всегда соблюдать мне дано:

ни жизни под юбку не лезу,
не хлопаю смерть по плечу;
богатством подобиться Крезу
Лидийскому я не хочу;

чураясь и хлада и глада,
я чту и тюрьму и суму, –



чужого куска мне не надо,
но свой не отдам никому.

Короче, не будь я поэтом
по воле поющих небес,
не в том преуспел бы, так в этом,
где важен порядок и вес.

Сложного сложнее, простого проще,
то неповоротлива, то шустра,
громоздясь на горы, врываясь в рощи,
языками яростными костра
ласково крутя, шевеля глумливо,
рушится стремительная с обрыва
и встаёт целехонька, как ни в чём
не бывало, плотная и сквозная,
сведуца во всем, ничего не зная,
собственным себя подопря плечом.

Сопредельным странам грозя набегом,
мир даруя прочим издалека,
Ноевым взлетающая ковчегом
над водой под самые облака,
раздаётся вширь обоюдокрыла,
весть о том, что будет и есть и было,
претворить пытается в кровь и плоть
всех существ, замешанных на соблазнах,
потому что в лицах и видах разных
праведную любит её Господь.

Ода безногому

Не жалея, не соболезуя,
Божья выпадет роса –
и четыре колеса
колесницы сей железной
над клокочущую бездной
вознесут на небеса.

С радужного небосвода,
как на землю смотрит Бог,
милосерден или строг,
глянет он оттуда в оба:
для безногого свобода –
пара-тройка резвых ног.

Старый фотограф с треножником из дюралю
бродит по пляжу тщетно в поисках тех,
кто пожелал бы снимок на фоне дали
Бельта ли, гор ли песчаных, но – как на грех –

никого: никому ничего не надо, –
отдыхающих тыщи снабжены
кодаками, поляроидами – не досада
неимоверной, но сожаление – глубины.



Бос, молчалив, минуя свалку людскую,
он по песку одной, по волне другой,
полон тоской, которой и я тоскую,
не оставляя следов, ступает ногой.

Из сыновей приёмных золотого Феба
самый последний – самый любимый ты!
Брось свой треножник, фотографируй небо,
море и солнце, блещущее с высоты.

Победные песенки

1

Семипалым шиповником розовый куст,
незаметно дичая, становится:
измельчавшим вослед появляться цветам
красно-бурые начали ягоды.

*А стоит ли в чёрной печи обжигать,
прекрасную глину в печи обжигать,
прекрасную красную глину?*

Золотые в запущенном рыбки пруду
обернулись огромными, жирными
карасями, – на масляных сковородах
трепетать им теперь нетерпением.

*А стоит ли в чёрной печи обжигать,
прекрасную глину в печи обжигать,
прекрасную красную глину?*

Пусть никто ничего не поймёт, ничему
не научит и сам не научится,
ибо в песне моей далеко не слова
и не музыка самое главное.

А стоит ли в чёрной печи обжигать,
прекрасную глину в печи обжигать,
прекрасную красную глину?

2

Рябина красиво
раскинула кисти,
а нет ни метелей, ни стуж, –
толстеют на талых
пернатые свалках,
о ней не горяя ничуть.

О Ангел мой огнелищый,
пожалуйста, не по лжи,
что делать с мёртвой синицей,
в руке зажатой, скажи?

Слепые не видят,
глухие не слышат,
немые не скажут о той,
которая градом
разит, кропя
то грязь, то нестойкий снежок.

О Ангел мой огнелищый,
пожалуйста, не по лжи,
что делать с мёртвой Фелицей,
венца лишённой, скажи?



3

Боярышнику – краснеть
нечаянным очевидцем
всех ряженных обнажения,
готова сытную снедь
клестам, снегирям, синицам,
себя же – для жизни будущей.

Сей праведник – проводник,
накопленным златом беден,
иные стяжав сокровища,
с тех пор, как на свет возник,
до тех, как пребудет съеден,
звонящий звеном связующим.

Не всё, что случится, зря, –
стоять ему через силу
единственным в поле воином,
ни слова не говоря,
и класть семена в могилу –
всеискупляющей жертвою.

Изваяние Силена в Капитолийском музее

Безмянного страж именитый сада,
бородатый, косматый, великорослый,
с переброшенной шкурою через ramo
кососаженное,

козлоногий, мудастый, парнокопытный,
многогроздую между рогов кошницу
подпирающий шуйцей, в деснице свесив
кисть виноградную, –

что печаль по челу пролегла, Силене?
Мрачноличен зачем и понуровиден?
Ах, и кто же, скажи, не стыда, не срама, –
уда заветного,

прямотою прославленного стрекала
кто лишил-то тебя? За какие вины?
Неужели твои сочтены проказы
за преступления?

Позабыт-позаброшен толпой пугливых
прежде нимф, нагловатых насмешниц ныне, –
хоть гоняйся за ними, хоть не гоняйся,
всё одинаково,

ибо надо, поймавши, сражать, а нечем.
Потерявшему большее потерявшим
меньшее не наполнить обломком лона
влаготочивого, –

ни на что похотливый скопец не годен,
безоружный же муж никому не нужен,
оттого и поставлен в музее – Музам
на поругание.



Златотрепещущее над нами
море поблекло, по кривизне
брежной разметаны кверху днами
переселенцев сюда извне
судна, повесив обломки вёсел,
ржавые высунув якоря,
щеглы окрест раскидав как зря, –
их обреченный народец бросил
без сожалений на произвол
и неизвестно куда ушел.

Где вы? Неужто чужбины сладок,
а не отчизны суровой дым? –
Все, что стремилось придти в упадок,
будучи старым иль молодым,
древним иль новым, пришло, различий
не проводя между тем и тем,
сделался велеречивый нем
край, где звериный лишь крик да птичий
редко, но скатываются в ком, –
на языке здесь вещать каком?

Местная речь, наущась латыни,
взяться намерена за санскрит, –
недопроявленного доньше
гул вещетворчества в ней сокрыт
под тарабарщиною Монгола,
Фрязина мольвью, на суть скупой,
складом Варяжеским, скорлупой
Грецких наречий, пятой глагола

Аглицкого и окружных стран, –
слышен сквозь них, изначально дан.

Из обезлюдевших порубежий
духи земли собрались на зов,
дабы, насытившись кровью свежей,
память и время начать с азов,
сооружения крепостные
выстроить заново, возвести
вновь города, проторить пути
в твердях обеих как бы впервые,
на море двинуть опять суда,
плыть посылаемые сюда.

Ты однажды утром проснёшься в Риме
и, зевая, к зеркалу подползёшь
шевелить побережьями губ сырыми:
«Человек есть ложь! человек есть ложь».

Своего отражения, всё изведав,
отражение, ко всему готов,
я не тучен от выдержанных обедов
и не тощ от невыдержанных постов.

Не пеняй мне, – «за правду твою спасибо»
никогда моих не осушит уст,
ибо жить не тебе, умирая, ибо
ты пред Богом чист и для Бога пуст.



Поспешим
стол небогатый украсить
помидорами алыми,
петрушкой кучерявой и укропом,

чесноком,
перцем душистым и луком,
огурцами в пупырышках
и дольками арбузными. – Пусть масло,

как янтарь
солнца под оком, возблещет
ослепительно. – Чёрного
пора нарезать хлеба, белой соли,

не скупясь,
выставить целую склянку. –
Виноградного полная
бутыль не помешает. – Коль приятно

утолять
голод и жажду со вкусом! –
Наступающей осени
на милость не сдадимся, не сдадимся

ни за что. –
Всесотворившему Богу
озорные любовники
угрюмых ненавистников любезней.

Заря зарделась на востоке,
деревенская девка, ведущая
на привязи день
белоголовым телёнком,
еще не ведающим уже
в сумороках готовящегося вечерних
ему заклятия. –

Что неизбежно, то свершится. –
Одиссей хитромудрый спутников
ослушных своих,
жаждой томимых и голодом
на диком острове, где паслось
среди пестреющих выгонов солнцево стадо,
столь постоянное

по численности, что единой
головой прирастало для убыли
в четыре зимы,
как ни старался лишенных
рассудка словом остановить,
но со слухом у чревонеистовства плохо
и нет зазрения. –

Короче, сообща напали,
кровеносную жилу надрезали
на вые быка,
дабы насытиться мясом
парным, не жареным на костре,
и напиться рудой, – до костей был обглодан
день возвращения. –



За то погибель им досталась
всем в удел, по отдельности каждому. –
Из них не узрел
дома по странствиях многих
никто. – Единственный Одиссей,
отвлекаемый выпреним гласом от зова
утробы трубного,

не вскорости, но воротился
восвояси. – Зачем пересказывать
известное всем? –
Памороки обреченным
отшибло напрочь, – время пришло
вновь напомнить, что всё и даруется Богом,
и отнимается.

Ты мне земного была дороже
существования, – моему
телу твоё до внутренней дрожи
памятно, наперекор уму,

в нем заключённому, и поныне, –
так не торопится ни одно
судно груженое средь пустыни
соли с водой уходить на дно,

где обитают рыбы и крабы,
сплющенные с обоих боков, –
с палубы память спихнуть пора бы
лишней поживой для рыбаков.

Словно случайная рифма в прозе,
звякнула и запропала, – Русь!
вся ли ты поцелуй на морозе,
или не вся? – сказать не берусь.

Добрая мать или мачеха злая,
кто ты? – не ведаю до сих пор, –
будто на смерть, на жизнь посылая,
смотришь, бесчувственная, в упор.

Выгнутой речью со скрытым смыслом
пробуя вылечить немоту,
горьким, солёным, острым и кислым,
лишь бы не сладким, вязнешь во рту.

Родина трудная! чем ответишь
пасынку, сыну или рабу? –
Необходимости мёртвой фетиш,
ненарушаемое табу.

По мрачным странствую пещерам Аквилона,
чтоб остудить твоё взволнованное лоно
и сердце отогреть,
но, парой каблучков как по полу ни цокай,
рабыней преданной иль госпожой жестокой
ты мне не будешь впредь.



Метущаяся плоть и взор пугливой лани, –
хоть расторопные поднять и длятся длани
упавшую свечу,
всё на свои места пусть расставляет случай.
Как беден мой язык, великий и могучий, –
могу, но не хочу.

Встреч редких сладок век, но миг разлуки слаще, –
сражённый клятвами, в серебряные чащи
без цели, без следа
дух уносящими, не подавая вида:
«Кто любит, – говорю словами Еврипида, –
тот любит навсегда».

Где видели Кавказ и бурю грозну,
Нашли –
Лишь Кучу там навозну.

Граф Хвостов, «Гуча, Гора и Куча» (ред. 1816 г.)

Ни разбрасывать камни, ни собирать
мне не хочется, – нет никакого смысла,
потому что туч моровая рать,
рассеяв мрак, над землей нависла,

ничего не ища и не находя,
кроме личных польз или частных выгод,
мощью разрушительного дождя
тех разящая, кто укажет выход

и навозну кучу приметит в ней,
с путником из басни Хвостова сходен, –
дай рукам покой, не тревожь камней,
собирайся с духом, пока свободен.

Выбранному временем небранным,
было бы мне больше по душе
силами померяться с тираном,
а не с куклой из папье-маше:
кто кого в тяжеловесной схватке
скрутит и положит на лопатки.

Некогда, витийству покорясь,
крепости слагались из камней;
слой за слоем слипшаяся грязь
расчищалась мощью песнопений;
ткался человечесий испокон
из пророчеств истинных закон.

Ныне в небрежении великом
волшебства словесного балласт, –
землю нечленораздельным криком
оглашают, кто во что горазд,
точного заложники расчёта,
соль из капель добывая пота.

Жертва единятся и палач
в противостоянии нетвёрдом,



полусмех блуждает, полуплач
по довольством искаженным мордам, –
ни тиран не страшен никому,
ни рекущий поперек ему.

Разбитая может ли чаша срастись
и знак всколоситься исторгнутый с корнем? –
Лишь пар устремляется струйками ввысь,
от праха земного к обителям горним,

отзыва взыскупя, зане не сумеь
ни письменно выразить жалоб, ни устно, –
так патина кроет небесную медь:
искусство безжизненно, жизнь безыскусна.

ЛИРА

В антикварном отделе
книжного магазина «Москва» на Тверской,
куда я часто захоживаю,
мне попалась – буквально на днях –
одна любопытная книга:
«Опыт о русском стихосложении» Востокова,
1817-го года.

Александр Христофорович по молодости лет
истинным был пиитом,

изысканным и чрезвычайно изобретательным,
воспевал мужскую – в античных формах –
любовь и дружбу, а потом,
остепенясь, Поэзию бросил и женился
на Филологии.

Редкий – ручаюсь –
экземпляр единственного издания
(хоть и чёрным по белому, что *второе*),
с которого, собственно, началась
наука о русском стихе,
в полукожаном переплёте, без корешка,
стоит 20 000 рублей.

Однако не тем он ценен,
а тремя – на переднем форзаце слева –
прежних последовательными надписями владельцев:
Сергея Михайловича Бонди,
Сергея Павловича Боброва,
Михаила Леоновича Гаспарова –
и пометами на полях.

Знатоки и ценители тонкостей стиховых
с отвлечённой своей наукою
переместились к Востокову – медлительно рассуждать
о размерах, рифмах и строфах,
а ты на продажу выставленной оказалась,
обветшавшая, не переданная никому
Лирическое стиховедение!



По-весеннему на улице запели
птицы, в хор свои сливая голоса,
сквозь немолчное журчание капли
возвестить, что вслед за тёмной полоса
жизни светлая грядёт, – но я не верю:
обретением не возместить потерю!

Им вольно, – на чьей природа стороне
выступает, не останется в накладе, –
восторгаться солнцем утренним втройне,
вдохновения единственного ради
с безыскусной песни лёгкостью поя, –
речь трудна и чрезыестественна моя.

Радость деланной выходит и бесцветной,
облекаясь в неподъёмные слова, –
лишь клокочущую в глубине под Этной
и Везувием со Стромболи – глава
за главой – готов излить огнистой лавой
скорбь живую на-гора дракон треглавый.

Непроглядная и плотная зима,
грозно дышащая хладом отовсюду,
обступив, свести пытается с ума,
сил оставшихся лишить, на *был* и *буду*
настоящее раззять мечом стальным. –
Пойте, птицы, не давая остальным!

Насыщение, а не вкус,
о котором водит Француз
неустанно четыре века
языком по полости рта! –
Вся премудрость его пуста
для голодного человека!

Мельтешения скудных блюд
не приемлет привычный люд
к изобилию щей да каши;
нет урчания в животе –
можно думать о красоте:
насыщение – счастье наше!

Преуспеет в словесном тот
ремесле, кто туго набьёт
отощавшему снедью пузо, –
чем богата, всё из печи
с пылу с жару на стол мечи,
да поболе, русская Муза!



Александр КАБАЛОВ

(стихи 1989–1999 гг.)

Какое вдохновение – молчать,
особенно – на русском, на жаргоне.
А за окном, как роза в самогоне,
плывет луны прохладная печать.

Нет больше смысла гнать понты, калякать,
по фене ботать, стричься в паханы.
Родная осень, импортная слякоть,
весь мир – сплошное ухо тишины.

Над кармою, над Библией карманной,
над картою (больничною?) страны
Поэт – сплошное ухо тишины –
с разбитой перепонкой барабанной...

Наш сын уснул. И ты, моя дотрога,
курносую вселенную храня,
не ведаешь, молчание – от Бога,
но знаешь, что ребёнок – от меня.

На Страстной бульвар, зверь печальный мой,
где никто от нас – носа не воротит,
где зеваает в ночь сытой тишиной
сброшенный намордник подворотни.

Дверью прищемив музыку в кафе,
портупей сняв, отупев от фальши,
покурить выходят люди в галифе,
мы с тобой идем, зверь печальный, дальше...

Где натянут дождь, словно поводок.
Кем? Не разобрать царственного знака...
Как собака, я до крови промок,
что ж, пойми меня, ведь и ты – собака.

Сахарно хрустит косточка-ответ:
(Пир прошёл. Обьедки остаются смердам...)
Если темнота – отыщи в ней свет,
если пустота – заполняй бессмертным.

Брат печальный мой, преданность моя,
мокрый нос моей маленькой удачи,
ведь не для того создан Богом я,
чтобы эту жизнь называть собачьей?

Оттого её чувствуешь нутром
и вмещаешь всё, что тебе захочется,
оттого душа пахнет, как метро,
днём – людской толпой, ночью – одиночеством.



Мой милый друг! Такая ночь в Крыму,
что я – не сторож сердцу своему.
Рай переполнен. Небеса провисли,
ночью в перевернутой арбе,
и если перед сном приходят мысли,
то как заснуть при мысли о тебе?

Такая ночь токайского разлива
сквозь щели в потолке неторопливо
струится и густеет, августев...
Так нежно пахнут звёздные глубины
подмышками твоими голубыми,
уже наполовину опустев.
К речной воде на корточках с откосов
сползает сад – шершав и абрикосов!
В консервной банке – плавает звезда...

О, женщина, – сожжённое огниво,
так тяжело, так страшно, так счастливо!
И жить всегда – так мало, как всегда.

На сетчатках стрекоз чешуилось окно,
ветер чистил вишнёвые лапы.
Парусиною пахло, и было темно,
как внутри керосиновой лампы.

Позабыв отсыревшие спички сверчков,
розы ссадин и сладости юга,
дети спали в саду, не разжав кулачков,
но уже обнимая друг друга...

Золотилась терраса орехом перил,
и, мундирчик на плечи набросив,
над покинутым домом архангел парил...
Что вам снилось, Адольф и Иосиф?

Мы все – одни. И нам ещё не скоро
усталый снег полозьями елозить.
Колокола Успенского собора
облизывают губы на морозе.

Тишайший день, а нам ещё не светит
впрягать собак и мчаться до оврага...
Вселенские, детдомовские дети,
Мы – все одни. Мы все – одна ватага.

О, санки, нежно смазанные жиром
домашних птиц, украденных в Сочельник!
Позволь прижаться льготным пассажиром
к твоей спине, сопливый соплеменник!

Овраг – мне друг, но истина – в валюте
свалявшейся, насиженной метели...
Мы одиноки потому, что в люди
другие звери выйти не успели.



Колокола, небесные подранки,
лакают облака. Ещё не скоро
на плечи брать зарёванные санки
и приходиться к Успенскому собору...

Мосты

1

Лишённый глухоты и слепоты,
я шёпотом выращивал мосты –
меж двух отчизн, которым я не нужен.
Поэзия – ордынский мой ярлык,
мой колокол, мой вырванный язык;
на чьей земле я буду обнаружен?
В какое поколение меня
швырнёт литературная возня?
Да будет разум светел и спокоен.
Я изучаю смысл родимых сфер.
...пусть зрение мое – в один Гомер,
пускай мой слух – всего в один Бетховен...

2

Слюною ласточки и чирканьем стрижа
над головой содержится душа
и следует за мною неотступно.
И сон тягуч, колхиден. И назло
мне простыня – галерное весло:
тяну к себе, осваиваю тупо...
С чужих хлебов и Родина – преступна;
над нею пешеходные мосты

врастают в землю с птичьей высоты!
Душа моя, тебе не хватит духа:
темным-темно, и музыка – взашей,
но в этом положении вещей
есть ностальгия зрения и слуха!

ФОНТАНГО

Водевиль, водяное букетство,
фонтан – отщепенец!
Саблезубый гранит в глубине леденцовых коленец
замирает, искрясь, и целует фарфоровый краник –
так танцует фонтан,
так пластмассовый тонет «Титаник»!

Так в размеренный такт,
убежав с головы кашалота,
окунается женская ножка
в серебряных родинках пота:
и ещё, и ещё, и на счёт поднялась над тобою!
Так отточен зрачок и нацелен гарпун китобоя...

Под давлением воды, соблюдая диаметр жизни,
возникают свобода пространства
и верность Отчизне,
и минутная слабость – остаться, в себя оглянуться,
«но», почуяв поводья,
вернуться, вернуться, вернуться! –
в проржавевшую сталь,
в чернозёмную похоть судьбы
и в пропахшие хлоркой негритянские губы трубы...



Я отдыхал на бархате шмелей
еще гудящим от дороги взглядом,
Земля крутилась ночью тяжелей,
вспотев от притяженья винограда.

И пастухом рассветный луч бродил,
приподнимая облако бровями,
но тишина не ведала удил,
и травы не затоптанные вяли.

Я по привычке не вставал с земли,
как тень недавно срубленного сада,
и пахли мёдом сонные шмели,
и капал яд с ужаленного взгляда.

Я слово незрелое жевал, –
не опылённый шарик винограда,
и счастлив был, и оттого не знал,
что счастье – есть посмертная награда,

что это жало, словно жизни жаль,
оно дрожало дирижёром боли,
и воздух на губах моих дрожал,
наверно, ветер ночевал в тромбоне.

И гусеница медленно ползла,
как молния на вздувшейся ширинке,
наверно, миру не хватало зла,
а глазу – очищающей соринки...

Пателефон заведёшь – и не надо тебе
ни блядей, ни домашних питомцев.
Очарует игрой на подзорной трубе
одноглазое чёрное солнце.

Ты не знаешь ещё, на какой из сторон –
на проигранной или на чистой –
выезжает монгол погулять в ресторан
и зарезать «на бис» пианиста.

Пателефон потихоньку опять заведёшь:
захрипит марсианское чудо.
«Ничего, если сердце мое разобьёшь,
ведь нужнее в хозяйстве посуда...»

Замерзает ящик, остывает суфле,
вьётся ворон, свистит хворостинка...
И вращаясь, вращаясь, – сидит на игле
Кайфоловка, мулатка, пластинка!

(стихи 2000–2008 гг.)

Напой мне, Родина, дамасскими губами
в овраге тёмно-синем о стрижах.
Как сбиты в кровь слова! Как срезаны мы с вами –
за истину в предложных падежах!



Что истина, когда – не признавая торга,
скрывала от меня и от тебя
слезинки вдохновенья и восторга
спецназовская маска бытия.

Оставь меня в саду на берегу колодца,
за пазухой Господней, в лебеде...
Где жжётся рукопись, где яростно живётся
на Хлебникове и воде.

Ужин сна турщицей

Лая белая собачка, пива тёмный человек.
Вот вам кружка, вот вам пачка с папиросами «Казбек».
А теперь садитесь рядом, вот вам слово – буду гадом,
обещаю, только взглядом...
Душный вечер, звон в ушах,
Всюду – признак божьей кары. Например, в карандашах.

К нам бросается набросок – андалусская мазня:
...сонный скрип сосновых досок, мельтешение огня,
балаганчик, стол заляпан чем-то красным... – Вот и я!
Будет выгашен из шляпы женский кролик бытия!
Без сомнений прикажите Вам резать петуха:
вудуист и должожитель, он – исчадие греха.
Чесноком и жгучим перцем пусть бока ему натрут,
золотого иноверца – в винный соус окупут!

Ведь внутри себя ужалясь, как пчела наоборот,
Смерть испытывает жалость, только – взятку не берёт.

В красках – СПИД не обнаружен,
будет скомканной постель.
А покуда – только ужин. Уголь, семя, пастель.

Давинчи – виноград, вишнёвый чех де сада,
и все на свете – кровь, и нежность, и досада!
А если нет любви: зачем, обняв колени,
ты плачешь обо мне в пятнистой тьме оленьей?

На завтрак шелестишь вечернею газетой
и веришь тишине – мошеннице отпетой.
Её базарный торс прозрачнее медузы,
куда она несёт за волосы арбузы?

Давай уедем в Рим, начнем дневник уныло,
по капельке раба – выдавливать в чернила.
Пусть за углом судьбы – нас не спасут полбанки,
лишь музыка ещё невидимой шарманки!
...напрасные слова, бычки, дефис в томате
и сонная пчела на медной рукояти.

(отплывающим)

Над пожарным щитом говорю: дорогая река,
расскажи мне о том, как проходят таможду века,



что у них в чемоданах, какие у них паспорта,
в голубых амстердамах чем пахнет у них изо рта?

Мы озябшие дети, наследники птичьих кровей,
в проспиртованной Лете – ворованных режем коней.
Нам клопы о циклопах поют государственный гимн,
нам в писательских жопах провозят в Москву героин.

Я поймаю тебя в проходящей толпе облаков
на живца октября, на блесну из бессмертных стихов,
пряма – из женского рода! Хватило бы наверняка
мне в чернильнице – йода, в Царицыно – березняка.

Пусть охрипший трамвайчик на винт наматывает судьбу,
пусть бутылочный мальчик сыграет «про ящик» в трубу!
Победили ни зло, ни добро, ни любовь, ни стихи...
Просто – время пришло, и Господь – отпускает грехи.

Чтоб и далее плыть, на особенный свет вдалеке,
в одиночестве стыть, но теперь – налегке, налегке.
Ускользя в зарю, до зарезу не зная, о чем
я тебе говорю, почему укрываю плащом?

Открывая амбарную книгу зимы,
снег заносит в нее скрупулёзно:
ржавый плуг, потемневшие в холках – холмы,
и тебя, моя радость, послёзно...

...пьяный в доску забор, от ворот поворот,
баню с видом на крымское утро.
Снег заносит: мычащий, некормленный скот,
наше счастье и прочую утварь.

И на зов счетовода летят из углов –
топоры, плоскогубцы и клещи...
Снег заносит: кацапов, жидов и хохлов –
и другие нехитрые вещи.

Снег заносит уснувшее в норах зверьё,
след посланца с недоброю вестью.
И от вечного холода сердце моё
покрывается воском и шерстью.

Одинаковым почерком занесены
монастырь и нечистая сила,
будто все – не умрут, будто все – спасены,
а проснёшься – исчезнут чернила.

Лесе

Кривая речь полуденной реки,
деревьев восклицательные знаки,
кавычки – это птичьи коготки,
растёгнутый ошейник у собаки.

Мне тридцать восемь с хвостиком годков,
меня от одиночества шатает.



И сучье время ждёт своих щенков –
и с нежностью за шиворот хватает.

А я ослеп и чуточку оглох,
смердит овчиной из тетрадных клеток...
И время мне выкусывает блох,
вылизывает память напоследок.

Прощай, Герасим! Здравствуй, Южный Буг!
Рычит вода, затапливая пойму.
Как много в мире несогласных букв,
а я тебя, единственную, помню.

Курение джа

Что-то потрескивает в папиросной бумаге:
как самосад с примесью конопли,
как самосуд в память о Кара-Даге,
и, затаившись, смотришь на корабли.

Вечер позолотил краешек старой марли,
и сквозь нее проступают: мачты, мечты, слова –
складываются в молитву, в музыку Боба Марли,
в бритву, в покрытые пеной – крымские острова.

Мокрые валуны правильными кругами
расходятся от тебя, брошенного навсегда.
Но кто-то целует в шею и обхватывает ногами,
и ты выдыхаешь красный осколок льда.

2041 г.

На премьерe, в блокадном Нью-Йорке,
в свете грустной победы над злом –
черный Бродский сбегает с галёрки,
отбиваясь галерным веслом.

Он поет про гудзонские волны,
про княжну. (Про какую княжну?)
И облезлые воют валторны
на фанерную в дырках луну.

И ему подпеваeт, фальшивя,
в високосном последнем ряду,
однорукий фарфоровый Шива –
старший прапорщик из Катманду:
«У меня на ладони синица –
тяжелей рукояти клинка...»

...Будто это Гамзатову снится,
что летят журавли табака.
И багровые струи кумыса
переполнили жизнь до краёв.
И ничейная бабочка смысла
заползает под сердце моё.

И чужая скучна правота, и своя не тревожит, как прежде,
и внутри у нее провода в разноцветной и старой одежде.
Жёлтый провод – к песчаной косе,
серебристый – к звезде над дорогой,



не жалея, перекусывай все,
лишь – сиреневый провод не трогай.

Ты не трогай его потому, что поэзия – странное дело:
всё, что надо – рассеяло тьму и на воздух от счастья взлетело.
То, что раньше болело у всех, –
превратилось в сплошную щекотку,
эвкалиптовый падает снег, замечая навеки слободку.
Здравствуй, рваный, фуфаечный Крым,
потерявший империю злую,
над сиреневым телом твоим я склонюсь и в висок поцелую.
Липнут клавиши, стынут слова, вот и музыка просит повтора:
Times New Roman, ребёнок ua., серый волк за окном монитора.

Уха

Луковица огня, больше не режь меня,
больше не плачь меня и не бросай в Казань.
Ложкою не мешай, ложью не утешай,
память – мужского рода: чешется, как лишай.

Окунем нареки, вот мои плавники,
порванная губа, вспоротые стихи.
Вот надо мной проходят пьяные рыбаки.
Все на земле – мольба, дыр и, возможно, щыл.
Господи, Ты зачем комменты отключил?

Всех успокоит Сеть, соль и лавровый лист,
будет вода кипеть, будет костер искрист.
Будут сиять у ног – кости и шелуха...
Как говорил Ван Гог: «Все на земле – уха...»

Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево –
в рюмочной опрокинула два бокала,
на лету проглотила курицу без подогрева,
отрыгнула, хлопнула дверью и поскакала.

А налево больше не было поворота –
жили-были и кончились левые повороты,
хочешь прямо иди – там сусанинские болота,
а на право у нас объявлен сезон охоты.

Расставляй запятые в этой строке, где хочешь,
пей из рифмы кровь, покуда не окосеешь.
Мне не нужно знать: на кого ты в потемках дроишь,
расскажи мне, как безрассудно любить умеешь.

Нам остались: обратный путь, и огонь, и сера,
мезозойский остов взорванного вокзала...
Чуть помедлив, на корточках возле меня присела,
и наждачным плечом прижалась, и рассказала.

Жил да был человек настоящий,
если хочешь, о нём напиши:
он бродил с головнею горящей,
спотыкаясь в потёмках души.

По стране, постранично, построчно
он бродил от тебя – до меня,
называющий родиной то, что
освещает его головня:



...ускользающий пульс краснотала,
в «Рио-Риту» влюблённый конвой.
И не то чтоб её не хватало –
этой родины хватит с лихвой.

Будет видео фильмы вандамить,
будет шахом и матом Корчной,
и по-прежнему – девичья память
незабудкою пахнуть ночной.

Будет биться на счастье посуда,
и на полке дремать Геродот,
Даже родина будет, покуда –
Человек с головнею бредёт.

Облака под землёй – это корни кустов и деревьев:
кучевые – акация, перистые – алыча,
грозвые – терновник, в котором Григорий Отрепьев,
и от слез у него путеводная меркнет свеча.

Облака под землёй – это к ним возвращаются люди,
возвращается дождь и пустынные глазницы его.
Спят медведки в берлогах своих,
спят личинки в разбитой посуде,
засыпает Господь, больше нет у меня ничего...

Пусть сермяжная смерть – отгрызает свою пуповину,
пахнет паленой водкой рассыпшийся палеолит.

Мой ночной мотылёк пролетает сквозь синюю глину,
сквозь горящую нефть и нетронутый дальше летит!

Не глазей на меня, перламутровый череп сатира,
не зови за собой искупаться в парной чернозём.
Облака под землёй – это горькие корни аира...
...и гуляют кроты под слепым и холодным дождём.

Мы свободны во всём, потому что во всём виноваты,
мы – не хлеб для червей, не вино – для речного песка.
И для нас рок-н-ролл – это солнечный отблеск лопаты
и волшебное пенье подвыпившего рыбака.

Колыбельная для пиш.машинки

На лице твоём морщинка, вот ещё, и вот...
Засыпай моя машинка, ангельский живот.
Знаю, знаю, люди – суки: прочь от грязных лап!
Спи, мой олджэ. Спи, мой йцукен. Спи, моя фывап.

Терпишь больше, чем бумага (столько не живут).
Ты – внутри себя бродяга, древний «Ундервуд».
Пусть в Ногинске – пьют непальцы и поют сверчки,
ты приляг на эти пальцы – на подушечки.

Сладко спят на зебрах – осы, крыльями слепя,
вся поэзия – доносы на самих себя.
Будет гоевая паста зеленеть в раю,
западают слишком часто буквы «Л» и «Ю».



Люди – любят, люди – брешут, люди – ждут меня:
вновь на клавиши порежут на исходе дня.
Принесут в свою квартирку, сводят в туалет
и заправят под копирку этот белый свет.

Есть в слове «ресторан» болезненное что-то:
«ре» – предположим режущая нота,
«сторан» – понятно – сто душевных ран.
Но почему-то заглянуть охота
в ближайший ресторан.

Порой мы сами на слова клеветаем,
но, Господи, как хочется словам –
обозначать совсем иные вещи,
испытывать иные чувства к нам
и новое сказать о человеке,
не выпустить его из хищных лап,
пусть цирковые тигры спят в аптеке,
в аптеке, потому что: «Ап!»

У темноты – черничный привкус мела,
у пустоты – двуспальная кровать,
«любовь» – мне это слово надоело,
но сам процесс прошу не прерывать.

Бахыт КЕНЖЕЕВ

ИЗ КНИГИ «КРЕПОСТНОЙ ОСТЫВАЮЩИХ МЕСТ»

Ах, как холодно в мире. Такой жестяной снегопад.
Всякой твари по паре, и всякое платье – до пят.
Вспоминать в неуёмной метели, второго числа
(и четвёртого тоже) о скрипе ночного весла.

Все пройдёт? Предпотопный кораблестроительный пыл,
паутина в сусеках, мохнатая пыль по углам?
Пролетит шестикрылый, что вестью благой искупил
воплотившийся грех, будто хлоркою вымыл чулан?

В рассуждении голубя, что из каптёрки своей лубяной,
различает глубокое небо и ахнувший снег – Арарат,
не чинись – в том числе и тебя, мореплаватель Ной,
успокоят в дубовой оправе, как гравий в шестнадцать карат.

Допивай же, волнуясь, на дачной веранде стареющий чай,
и в молитвах пустых неподкупному мастеру лysi.
Для гаданий негодная ветхая книга зовется «Прощай»,
а её протяженье, её одолженье – «Прости».



Я не помню, о чём ты просила. Был – предел, а остался – лимит,
только лещь, перегонная сила, перезревшее время томит –

отступай же, моя Ниобея, продирайся сквозь сдавленный лес
стрел, где перегорают, слабея, голоса остроклювых небес –

да и мне – подурчиться, что ли, перед тем как согнись и умру
в чистом поле, в возлюбленном поле, на сухом оренбургском ветру –

перерубленный в поле не воин – только дождь, и ни звука окрест
лишь грозой, словно линзой, удвоен крепостной остывающих мест

Где под твердь мучительно-синей
не ржавеет невольничья цепь,
и забытая богом пустыня
по весне превращается в степь –
я родился в окрестностях Окса,
чьи памирские воды мутны,
и на горе аллаху увлёкся
миражом океанской волны.
Вздоргнет взрывчатый месяц двурогий,
сбросив пепел в сухую траву.
«Почему ты не знаешь дороги?»
«Потому что я здесь не живу.»

Не имеющим выхода к морю
только снится его бирюза.

Пусть Эвтерпа подводит сурьмою
молодые сайгачьи глаза –
есть пространства за мёртвым Аралом –
потерпи, несмышлёный, не пей –
где прописано чёрным и алым
население нищих степей –
и кочевник лобуетя вволю
на своих малорослых коней –
солоней атлантической соли,
флорентийского неба темней.

До дна, до соломинки вымыт –
попынь молодая горька –
померкшие сраму не имут
сквозь лаковые облака..
Язык, вездесущий с пеленок.
Колодец. Амбарный замок.
Как жил, так и умер в зеленых
краях, где репейник и мох
в нетопленной роще спесивой
опять под русалочий свист
склоняются перед осиной,
роняющей цинковый лист.

Напившийся уксуса с жёлчью
посмотрит ли на облака
жуком, выползающим молча
из спичечного коробка?



Нет – лишь возопит безответно.
Любой обречённый привык
листать расписание ветра,
срывающегося на крик.
Ах, ангел мой, лучше бы сразу,
покуда гроза начеку...
что – молния честному глазу,
его золотому зрачку?

Сколько гордости жалкой, чтобы в обветшавшее море дважды
не входить. Царапает небо хлеб ржаной, и не лечит жажды
алкоголь. Неуютный случай. Скоро ливень ударит певчий.
Там, вверху, за чернильной тучей, жизнь воздушная много легче,
чем положено одноногим и слепым – и в озонной дымке
неотложные реют боги – вроде чаек, но невидимки.

Знаешь магию узнаваний среди огней и ангелов? Разве
не к магниту тянется магний? (К силе – свет, и молитва – к язве).
Откричусь когда, в глину лягу – успокой меня грубой горсткой
голубой средиземноморской (к соли – ночь, и голубка – к благу).
Ночь блаженная, ночь кривая – ясной тьмой мое сердце дразнит.
Дождь спешит в никуда, смывая всё. И молния с треском гаснет.

Неслышно гаснет день убогий, неслышно гаснет долгий год,
Когда художник босоногий большой дорогою бредёт.

Он утомлён, он просит чуда – ну хочешь я тебе спою,
Спляшу, в ногах валяться буду – верни мне музыку мою.

Там каждый год считался за три, там доску не царапал мел,
там, словно в кукольном театре, оркестр восторженный гремел,
а ныне – ветер носит мусор по обнажённым городам,
где таракан шевелит усом, – верни, я всё тебе отдам.

Еще в обидном безразличье слепая снежная крупа
неслышно сыплется на птичьи и человечьи черепа,
еще рождественскою ночью спешит мудрец на звёздный луч –
верни мне отнятое, отче, верни, пожалуйста, не мучь.

Неслышно гаснет день короткий, силен ямщицкою тоской.
Что бунтовать, художник кроткий? На что надеяться в мирской
степи? Хозяин той музыки не возвращает – он и сам
брёдет, глухой и безъязыкий по равнодушным небесам.

Лечиться желтыми кореньями, медвежьей жёлчью, понимать,
что путешественник во времени не в силах ужаса унять,
когда над самодельной бездною твердит, шатаясь: «не судьба»,
где ушлывают в ночь железные и оловянные гроба.

Кого рождает дрёма разума и ледостав на поймах рек?
Кто этот странник недоказанный, недоказанный имярек,
владелец силы с чистым голосом? Пускай бездомен, пусть продрог,
он с ней един, что Кастор с Поллуксом, что слёзы и родной порог.



Когда в поту, когда в печали я вдруг слышу тихое «не трусь»,
когда, мудря, боюсь молчания и света божьего боюсь –
шурши ореховыми листьями, мой слабый, неказистый друг .
Мигнёшь – и даже эта истина скользнёт и вырвется из рук.

Полыхающий палех (сурик спиртом пропах) –
бес таится в деталях, а господь в облаках –
разве много корысти в том, чтоб за полночь, за
рыжей беличьей кистью, напрягая глаза,

рисовать кропотливо тройку, святки, гармонь?
Здравствуй, светское диво, безблаженный огонь,
на скамеечках Ялты не утешивший нас –
за алтын просиял ты, за копейку погас.

Остается немного (а умру – волховство
оборвётся и, строго говоря, ничего
не останется.) Я ли в эти скудные дни
не вздыхал на причале, не молился в тени

диких вязов и сосен, страстью детской горя?
Там распахнута осень, что врата алтаря.
Если что-то и вспомню – только свет, только стыд
перед первую, кто мне никогда не простит.

Язвы на лбу не расчёсывай, спи.
Поздно. Осталось немного.
Ссылные суслики в тесной степи
молятся смертному богу

гадов, лишайников и грызунов,
лапами трогая воздух.
Блещет над ними – основа основ –
твердь в неухоженных звёздах.

Знаю, о да, каждой твари своё,
обморок свой или морок.
Следом за рыжими чудо-зверье
молча вылезит из норок.

Волк отощавший, красотка-лиса,
заяц с ужом желтоглазым
в тёмной надежде глядят в небеса,
хором космический разум

молят. Прости. Я напрасно мудрю.
Звери степные уже к сентябрю
верно, рассеются, словно евреи
после Голгофы. Останусь один,

пьяный очкарик, единственный сын,
пить углекислое время.



Там, где шипастые растения, и шпат поверженный могуч,
плывут раскидистые тени шершавых, истощенных туч –
всё прошлое на страсть потратили, и будущее – как и ты;
плывут, любому наблюдателю видны – но только с высоты.

Давно ли, школьную тетрадкой утешен, наизусть со сна
ты пел вполголоса несладкие стихи майора Шеншина?
Давно ль восторги эти загодя, сок вытянувши из земли,
ольхую, и сердечной ягодой, и мхом прогорклым поросли?

Так созерцающий озерную гладь в острых крапинках дождя
зачем-то просит смерть позорную не хлопать дверью, уходя.
Стирай, душа, простынки-наволочки, ложись верёвкой бельевой –
хрустят ли облачные яблочки в твоей ладошке неживой?

Согрели, вызвали, умыли,
отдали голос на ветру.
В каком же я родился мире?
В таком же точно, где умру,

где солнце в флорентийских соснах,
телеги скорбные гремят
и в твёрдых толщах рудоносных
горчат кровавик и гранат.

Зачем (другим досталось, нищим,
спасенье) мы с тобой, душа,

по переулкам пыльным ищем
огонь из звёздного ковша?

Там резеда, там мало света,
под крышей горлицы дрожат,
и письма, ждущие ответа,
в почтовом ящике лежат.

И с каждым каменным приливом
волну воздушную несёт
к мятущимся, но молчаливым
жильцам простуженных высот.

Елене Игнатовой

В тщетном поиске рифмы к Некрасову, в честной бедности
дар свой вина,
погляди в интернете «саврасого» – не художника, просто коня –
мигом выйдет война партизанская, тальй снег, да родильницы стон,
пожилая лошадка крестьянская с чёрной гривой и жидким хвостом.

А по Лиговке пьяные писари ходят-бродят, шатаясь, ложась,
как на родине водится исстари, в придорожную мягкую грязь,
и храпят по казармам рабочие (руки-крюки, колтун в волосах),
и пружинка скрипит в позолоченных, недешёвых карманных часах

Леденец прохладительный – за щеку. Что за шум? Не свергают ли власть?
Заговорщика дворник с приказчиком волокут в полицейскую часть.



То кричат ему «Накося-выкуси!», то – в лицо кулаками! Еврей,
из студентов. Ах, сколько же дикости в нашем тёмном народе, Андрей!

До сих пор ли, глухая кормилица, поутру повзрослев невпопад,
твои школьницы носят в чернильнице ненадёжный растительный яд?
Недоспали, напутали сослепу – холодей же, имперский гранит,
где савраска, похожий на ослика, на петровскую лошадь глядит...

И забывчив я стал, и не слишком толков,
только помню: не плачь, не жалей,
пронеси поскорее хмельных облаков
над печальной отчизной моей,

и поставь мне вина голубого на стол,
чтобы я, от судьбы вдалеке,
в воскресенья проснулся под южным крестом
в невеликом одном городке,

дождался рассвета, и вскрикивал: «Вон
первый луч!» Чтобы плыл вместо слов
угловатый, седеющий перезвон
католических колоколов.

Разве даром небесный меня казначей
на булыжную площадь зовёт
перед храмом, где нищий, лишенный очей,
малоросскую песню поёт?

Шелкопряд, постаревшей ольхою не узнав,
отлетевшими братьями не уличён,
заскользит вперевалку, мохнатый и грузный,
над потухшим сентябрьским ручьём.

Суетливо спешит, путешественник пылкий,
хоть дорога и недалеко,
столько раз избежавший юннатской морилки,
и правилки, и даже сачка.

Сладко пахнет опятами, и по прогнозу
(у туриста в транзисторе) завтра с утра
подморозит. А бабочка думает: грозы?
Наводнение? Или жара?

Так и мы поумнели под старость – чего там! –
и освоили суть ремесла
сообщать о гармонии низким полётом,
неуверенным взмахом крыла.

Но простушка-душа, дожидаясь в передней,
обмирает – и этого не
передать никому, никогда, ни на средней,
ни на ультракороткой волне.

месяц цинковый смотрит в окно
одноглазый сквозь зимнюю тьму



столько всякого сочинено
а зачем до сих пор не пойму

добросовестной смерти залог
феникс нет городской воробей
истлевающий друг-каталог
детских радостей взрослых скорбей

помотаю дурной головой
закрывая ночную тетрадь
жизнь долга да и мне не впервой
путеводные звезды терять

месяц медленный в тёмном окне
все нехитро чудесно старо
и молчит астронавт на луне
словно нищий в московском метро

Побыв и прахом, и водой, и глиняным
болваном в полный рост, очнуться вдруг
млекопитающим, снабженным именем
и отчеством. Венера, светлый дух,
еще сияет, а на расстоянии,
где все слова – «свобода», «сердце», «я» –
бессмысленны, готовы к расставанию
ее немногословные друзья.

Ты говорил задолго до Вергилия,
на утреннем ветру простыл, продрог,

струна твоя – оленье сухожилие,
труба твоя – заговорённый рог.
Побыв младенцем, и венцом творения –
отчаяться, неволью различать
лиловую печать неодобрения
на всем живом, и тления печать.

Жизнь шелестит потёртой ассигнацией –
не спишь, не голодаешь ли, Адам?
Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим господам.

Зачем я пью один сегодня? Как тридцать восемь лет назад,
вонзаясь в воздух новогодний, снежинки резкие скользят,
все лучшее даётся даром, и пусть блуждает вдалеке
юнец гриппозный по бульварам с бутылкой крепкого в руке.

Пылай, закат – в твоём накале, неопалимая, долга
жизнь. По зеркальной вертикали плывут хрустальные снега.
Сто запятых, пятнадцать точек, бумаги рваные края –
и кажется – чем мельче почерк, тем речь отчётливей моя.

Зачем орфей в ночном аиде щадил обложенный язык,
когда в тревоге и обиде к ручью подземному приник?
Спит время: на огне окольном охрипших связок не согреть –
лишь агнцам, ангелам спокойным январским пламенем гореть.

4 января 2007



Один гражданин прям, а другой горбат,
один почти Магомет, а другой юрод,
но по тому и другому равно скорбят,
когда он камнем уходит во глубину океанских вод,

и снова, бросая нехитрые взгляды вниз,
где ладит охотник перья к концу стрелы,
трёхклинным отрядом утки летят в Белиз –
их хрупкие кости легки, а глаза круглы.

Один не спешит, а другому и звёзды – блиц-
турнир в сорок девять досок, сигарный чад,
но зависти нет к двуногим у серых птиц,
которые в небе, чтоб силы сберечь, молчат.

Когда бы отпала нужда выходить на связь,
как вольно бы жил разведчик в чужой стране!
И я помолчу, проигрывая, смеясь
над той бесконечной, что больше не снится мне.

...как чернеет на воздухе городском серебро невысокой пробы
и алеет грубый кумач на недорогих гробах –
так настенное зеркало с трещиной слишком громоздко, чтобы
уместиться в помойный бак.

Говорят, отражения – от рождения – где-то копятя,
перепутаны правое с левым, и с низом верх.
Зря ли жизнь, несравненная тварь, семенит, торопится,
задыхаясь – поспеть на прощальный свой фейерверк,

(или просто салют, по-нашему). Только в речную воду не заглядывай – утечёт, ни почина нет у неё, ни конца. Хочешь выбросить зеркало – надо его разбить молотком, с исподу, чтоб ненароком не увидеть собственного лица.

Есть государственная спесь:
брести за царской колесницей
колонне пленников. Бог вещь,
кому она сегодня снится,

страна проскрипций. Чистый лоб
весталки. Сгорбленная выв.
И в цирках каменных взахлёб
гремят оркестры духовые.

Есть долгий звук – и узкий свет.
Прощай. Прости. Позволь на память
одну из самых тёмных бед
на столике ночном оставить.

Жизнь покачнется навсегда,
заплачет, тихо глянет мимо..
Артезианская вода
мягка, и тьма неопалима,

где опыт, смерти побратим,
распознаватель белых пятен,
как первый снег необратим,
как детский голос, невозвратен.



Власть слова! Неужели, братия?
Пир полуправды – или лжи?
Я, если честно, без понятия,
и ты попробуй, докажи
одну из этих максим, выторгуй
отсрочку бедную, ожог
лизни – не выпевом, так каторгой
еще расплатишься, дружок.

И мне, рождённому в фекальную
эпоху, хочется сказать:
прощай, страна моя печальная,
прости, единственная мать.
Я отдал всё тебе, я на зелёный стол
всё выложил, и ныне сам
с ума сошел от той влюбленности,
от преданности небесам

Не так ли, утерев невольную
слезу, в каморке тёмной встарь
читала сторожиха школьная
роман «Как закалялась сталь»,
и, поражаясь прозе кованой,
в советский погружалась сон,
написанный – нет, окольцованный –
орденоносным мертвецом

Разговор пожилого сокола с престарелым вороном

«Что, товарищ, ты невесел?
Что почёсываешь плешь,
не поёшь вороньих песен,
свежей падали не ешь?»

И отвечает товарищ,
Тёмным ужасом зовом:
«Я спалён огнём пожараищ,
будто в танке боевом.

Я играл крылом-предплечьем,
пас орлиные стада,
сладким глазом человеческим
угощался иногда,

ведал всё, что было скрыто
под тулупами овец,
а теперь я раб артрита,
робких бабочек ловец».

«Ты, товарищ, пессимистом
стал, забывши стыд и честь.
Ведь под солнцем золотистым
всякой твари место есть!»

«Гаснет газ вселенской кухни,
через считанных минут
солнце жёлтое потухнет,
дыры чёрные взойдут.



Мы – пирующие птицы,
но в печальный этот час
что-то струнное случится,
недоступное для нас.»

Если хлеб твой насущный чёрств,
солона вода и глуха бумага,
вспомни, сын, что дорога в тысячу вёрст
начинается с одного шага

и твердит эту истину доживающий до седин,
пока его бедная кошка, издыхая, кричит своё мяу-мяу,
напоминая, что ту же пословицу обожал один
толстозадый браток – уважаемый председатель Мао.

Кто же спорит: по большей части из общих мест
состоит. Да, курсируем между адом и раем,
погреем близких, штудируем роспись звезд,
а потом и сами – без завещания – помираем.

И подползаем к Господу перепуганные, налегке,
чуждые как стяжательству, так и любви, и военной глории.
Если хлеб твой насущный чёрств, размочи его в молоке
и добавь в котлету. Зачем пропадать калории.

Вот дорога в тысячу ли, вот и Дао, которого нет,
вот нефритовое предсердье – так что же тебе ответил
козлотородый мудрец? Не юродствуй, сынок, не мудри, мой свет:
покупая китайскую вещь, бросаешь деньги на ветер.

Слушай: в небытии одинаковом, то сжимаясь, то щерясь навзрыд, дура-юность, что ласковый вакуум в стеклодувном шедевре горит – только делится счастьем с которыми голосят без царя в голове, с дребезжащими таксомоторами, что шуршат по январской Москве – и принижен, и горек он, и высок – мир, ушедший в тарусский песок – строк, ирисок, ржавеющих вывесок, лёгких подписей наискосок...

А земля продолжается, вертится, голубая, целебная грязь... так любовь, ее дряхлая сверстница, в высоту отпускает, смеясь, детский шарик на нитке просроченной – как летит он, качаясь, пока по опасным небесным обочинам просят милостыни облака! Как под утро, пока ещё светится зимних звёзд молодое враньё, серой крысой по Сретенке мечется суеверное сердце моё!

Хорошо вдалеке от обиженных, огорченных отеческих сёл в телевизор глядеть обездвиженный, попить огуречный рассол, вспоминая горящих и суженых, чтобы ласково чайник кипел, чтобы голос – пристыженный труженик – уголовную песню хрипел. Серый выдох стал сумрачным навыком – но в апреле, детей веселя, по наводке рождается паводок и неслышно светлеет земля.

Се – с косичками, в фартучке – учится несравненной науке строки незадачливая лазутчица – легче воздуха, тоньше муки, мельче пыли в квартире у Розанова, невесомее – ах, погоди... свет озоновый времени оного – будто боль в стариковской груди – дай ей, Господи, жить без усилия – пусть родной её ветер несёт, мощью гелия – или виргилия – достигая безлунных высот.



Виктор КУЛЛАЭ

ЧЕРЕПАХА БЕЗ ПАНЦИРЯ

Как птица из веток свивает
свой временный дом на беду –
душа прирастает словами.
И плоть претворяется в Дух.

Я выйду на улицу. Выйду,
чтоб только не быть одному.
Ещё молодежавый по виду.
Уже заглянувший во тьму.

Любому, ты слышишь, любому
бессмертие предрешено:
одним, как патроном в обойму,
другим, словно в пашню зерно,

а третьим – песком под стопю,
кишением тварей немых.

Страшишься, душа? Бог с тобою.
Страшнее нехитрая мысль

про холод межзвёздной свободы,
вполне исчислимый пока,
где снова не станет природы,
и времени, и языка.

Я флейту слушаю и клавесин –
на большее не остаётся сил.

Когда-то обожаемый орган
преобразился в смертного врага.

Я не хочу; мне попросту пуста
отверзнутых регистров густота –

астральный холод, что по ним течёт,
не принимает смертного в расчёт.

Хоть музыка пусть помнится живой:
капелью птичьей, трелью дождевой...

Ну, здравствуй! Я заранее провижу,
как встретимся, лицом переменясь.
Сегодня всё и вправду, как впервые,
свершается почти помимо нас.



Однажды мы судьбой переболели
и предпочли отдельную тюрьму.
С тех пор мои тетради побелели,
исписанные столько лет тому.

Бесследно испаряются чернила,
и не могу припомнить ни строки
о радости, что ты мне причинила,
о непереносимости тоски.

Короткая песенка спета.
Окончилось буйство секретий.
Остатков вчерашнего света
с лихвою хватает согреться.

Теперь ты никчѐмен – а мог бы,
барахтаясь в нежном межножье,
свирепым инстинктом амѐбы
свои отражения множить.

Кончается вечный экзамен,
и стыдно признать без рисовки,
что детские игры глазами
не жутки – скорее неловки.

Ступая по влажной брусчатке,
движение пережидая,
опомнишься: как беспечальна
под занавес жизнь прожитая.

Уже навряд ли что исправишь
словами. Необманно только:
коснувшись кожи, точно клавиш,
прислушаться к ответным токам.

Как будто бы ещё не поздно
остаться добрыми друзьями;
и есть какой-то хитрый способ,
и есть какой-то ход неявный.

Но ты, без усталости листая
несбывшееся под обложкой,
жрёшь одиночество ломтями,
спишь с одиночеством, как с кошкой.

Воспоминанья посмешнели.
То, с чем кукуешь в настоящем, –
скушнее форменной шинели
и лживее, чем глупый ящик.

Ну что ж, переживём и это,
под занавес рукоплексная
той, что слепил из слов и света
и – отпускаю, отпускаю...

под утро простынки примяты
и сны о свободе живей



на воле скучают приматы
и просятся в клетку к жратве

а днём их заботы банальны
и смотрит растерянный Бог
как яростно делят бананы
как ищут без устали блох

как плятятся в дьявольский ящик
и плоскую жизнь déjà vu
считают почти настоящей
до лучшего не доживу

реальность за кадром мелькает
прорвавшись ночным гнойником
у каждой паршивой макаки
сидит в подсознанке Кинг-Конг

Возмездие

Всегда начинается с малого:
подручные отрапортуют,
а после взбесившийся маятник
наращивает амплитуду.

Раслабив пророчество галстука,
он лоб перед зеркалом морщит,
смирясь с предчувствием гадостным,
что переиграть невозможно.

Как в детских компьютерных играх
нельзя обнулить результаты.
И колет холодными иглами
в предсердии ужас расплаты.

Принявший людей за растения,
назначенные к выкорчёвке,
психованный, бледный, растерянный –
он люто страшится верёвки,

не зная, что самое страшное:
не холод могилы отверстой,
не Тот, Кто побрезгует спрашивать,
заранее зная ответы –

но пешки, которыми жертвовал,
увлекшись игрою новейшей.
Ведь именно в их окружении
ему уготована вечность.

как бы вцепиться в холку
гадам что развели нас?
мгла прилегла на холмы
нагло так развалилась

все лажанулись кроме
тех кто считал дензнаки
цену пролитой крови
только убитый знает



дети из двух песочниц
стали враз палачами
кровь чернеет под солнцем
наций не различая

крови лгать не пристало
лишь вопрошать доколе
из неё прорастают
только зубы дракона

На мотив Волохонского

По эльфийскому лучу,
по стволу корявому,
то ли всё же долечу,
то ли докарабкаюсь

в край свободы от судьбы,
разума и возраста,
где над небом голубым
бродят звери вольные.

Мне туда ещё не срок.
Просыпаюсь в свой мирок,
чувствуя через плечо –
горячее, горячо –

как прозрачные друзья,
смертной лёгкостью дразня,
смотрят на земную жесть.
Отвяжитесь! Я уже...

На смерть Дениса Новикова

1

...тра-та-та тра-та-та-та-та та-та-та издалека
просочился слушок о твоей невесёлой победе.
Ты приснился живым на излёте своих сорока
дней положенных мытарств, которых стремился избегнуть.
Эк тебя занесла напоследок, солдат буриме,
волонтёр конопли, на страну и на время обида!
Знаменитым бровям и девичьей ресниц бахrome,
светлой чёлке твоей истлевать под звездою Давида
будет много быстрее – у нас ведь покамест мороз.
Ты и тут поспешил, везунок, неуёммыш всегдашний.
Помнишь, Саша тянул «Посошок», доводя нас до слёз?
Ты зашил свой мешок с незатейливым скарбом бумажным.
Мандельштамовско-бродским гекзаметром нынче лабать
лишь о смерти пристойно...

К далёким светящимся стражам,
приобняв напоследок, уходишь, закинувши кладь
за плечо. Просыпаюсь. Светло и не страшно.

2

Не водовка, не пьяный отморозок,
которого смешно страшился ты,
и даже, говорят, не передоза –
кощунства? срамоты? –

тебя убила собственная язва,
натёртая о краешек стола.
Страна, что приласкала слишком явно,
да соску отняла.



И мне ли – прежде брату, после – чорту,
являвшемуся с белочкой к тебе –
судить сейчас, оправдываться в чём-то,
бессмысленно скорбеть? –

а вот скорблю. Бессмысленно. На ощупь.
В той, Дантом навещаемой стране,
тебе, исчадью, верно нынче проще,
чем будет мне –

зануде-моралисту. Мастерница
обманок – речь – взяла тебя на фук...
Не всё, Дениска, за стишки простится.
Не всякий звук

с Последним Словом так-таки созвучен.
Но нет управы собственным устам.
Прости – мудак. Ты знаешь это лучше
сегодня. Там.

3

Поговори со мной. Не в том примочка,
что сочинять ни сил, ни смысла нам
никто не даст взаимы. Табак подмочен,
а воздух выпел Манделыштам.

На стол – разнокалиберную утварь!
О бабах! – и ни слова про режим
больной страны, которая под утро
проснётся с именем чужим.

Ты жив ещё, и ты ещё не в ссоре
как будто ни с Тимуром, ни со мной,
и ни с самим собой. Рыдают «соггу»
над Англией смешной

раскормленные чайки. «Против наших,
чай, этим нипочём не устоять –
расслабились под скипетром монаршим,
япона мать,

нюх потеряли!..» Я тебя по нюху,
по дури отыщу в дурном былом –
в той комнате, где ставили порнуху,
но был облом

и на двоих давать ломалась краля –
не то, что некогда в Москве...
Наш воздух был, и он был честно скраден,
взаправду отворован у СВ.

Когда ж он стал похабней дихлофоса
и поэтесс, лихих на передок? –
в Москве, в Москве начала девяносто-
чумных годов,

где я над диссертацией трудился,
где ты вдыхал насмешливый дымок...
Наш воздух никому не пригодился
и никого не уберёг.

4

Мшистые стены крошащегося плитняка
леской из омота памяти извлеку.



Шмыгаешь в прошлое, дабы наверняка
утяжелить достоверной деталью строку.

Вот мы сидим, стопарь держи на весу
(рыба понтийская жарится на костерке),
до хрипоты обсуждая словесный сюр:
правильнее «в параднике»? «в параднике»?

Ты, исхитрившийся сызмальства делать спорт
и из любви, и из текста, утешься мздой –
вьюноша, взятый мной на Эвксинский Понт;
самый талантливый, наглый и молодой.

Вот мы тостуем: поручик и ушлый корнет.
Эмили Мортимер шепчет тебе «I love you».
«Я ж за Жоржа Иванова, – ты в ответ
брякаешь, – в рот беру и в жопу даю!..»

Хряпаем с локтя или – как бишь? – с локтя...
Дщерь Альбиона ответствует, преодолая крен:
«Денья, ти очень кароший... – а чуть спустя
и еле слышно, – ...но ты не gentleman».

Где же была пирушка? Несебрский пляж?
Стены общаги? Лондон? Московский флэт?
Шамбала? Амстердам? – где хмельной кураж
ты променял на вдумчивый марафет?

Так-таки важно?.. Впрочем, заведено
чтобы оставшийся кореш чтит календарь.
Ты раздаёшь ножи – ну а мне вино
лить новогодней полночью в твой стопарь.

...пригорок, а вовсе не склон.
И впрямь: зеленеет трава.
Поставь лучше песню про клён
и вспомни, дурила, стрезва

тот школьный бесхитростный бал,
когда – горделивый пацан –
ты в новеньких джинсах лабал,
пленяя девчачьи сердца:

чай, не самоострок, а фирма.
Неверящий, что не приврал,
завистливый кореш Фома
придирчиво швы проверял.

Емеля пилил словно бог,
Серёга басуху терзал,
а ты на ионике сёк,
лохматый, почти как Тарзан.

Припомни, как сердце прожёт
изведанный в тёмном углу
твой первый дурной портвешок,
твой первый слепой поцелуй,

отчаянный экскурс в трусы,
горячечность действий простых...
Небесные эти джинсы
потом ты на тряпки пустил.



А в заднем кармане порток
остался укором немым
истёртый на сгибах квиток
от юности, взятой взаймы,

случившейся так невопад,
как будто совсем не с тобой...
По-прежнему клёны шумят
над грязной речною волной.

Сидит на траве индивид,
о Родине что-то поёт,
и молодь ему говорит
беззлобно: «Заткнись, идиот».

Витийствуя изо дня в день,
ты стал повторяться, лентяй.
Так нитку суровую вдень
и память свою залатай.

Там всяк – молодой и незлой,
а дружеский трёп наш нелеп.
Но ветхая ткань под иглой
крошится на нити судеб.

По швам распадаясь, ползёт.
Гнилой мешковиной трещит.
А там – неприкрытый позор,
шипящее вмятое sheet.

Ты выжил – тебе повезло,
но в собственной малой душе
такое зияет зеро,
что стыдно ушедших уже.

И нужно прорехи латать,
один на один с наготой,
как ангелам нужно летать,
когда в них не верит никто.

законы стихосложения
способствуют на ощупь
чтоб жизнь обернуть сюжетом
вписав её в ряд всеобщий

в покорной людской бродильне
подвластны иным обетам
мы все как могли блудили
чтоб после писать об этом

но прошлому не прикажешь
а будущее не властно
над лёгкими мотыльками
слетевшими к Судной Лампе



Помнишь уснувший ветер,
слёзы на бороде?
Ты, как обычно, сверху –
или, точнее, везде.

Каменными руками
сооружён костёр.
На изначальном камне
юноша распростёрт.

Вознаграждая паствой
избранного раба,
зенки слепые пьют
блеющая судьба.

Тянет горелым – чуешь? –
так наслаждайся властью.
Эта Твоя причуда,
кажется, удалась.

Псалом 136

Беззвучен был наш плач при реках Вавилона.
Там, в сердце плена, вспомнив про Сион,
кинноры скрыли мы, доверив вербным кронам;
и струны их не издавали звон.

Пленители племён, взиравшие с презрением,
затребовали слов, уже навеселе:
«Потешьте нас теперь Сионским песнопеньем!..»
Как песнь Господню спеть в чужой земле?

Мой Иерусалим! пускай моя десница
иссохнет, пусть язык гортань мою забьёт,
коль в сердце я смогу тобою поступиться,
мой Иерусалим, веселие моё!

Попомни, Господи, сынам идумеянским
злосчастный день, когда пришло их торжество –
пал Иерусалим – и хищники смеялись:
«Разрушить, срыть до основания его!»

Не попусти и Вавилонской дщери...
Опустошительница! так речёт левит:
блажен будь, кто придёт, чтобы свершить отмщенье,
и выbledков твоих о камень размозжит!

*Пролетают птицы,
полные говна...*

Евгений Лесин

Птицы, полные говна,
заселили воздух.
Исчисляется в гринах
стоимость навоза.



Тяжкий труд ученика
не в чести сегодня.
Петь – отстой, а гадить – в кайф,
и притом доходней.

В пении отнюдь не спесь –
музыка первична.
Эта редкая болезнь
недемократична.

Гадить – всякому дано.
Тут секретов нету.
Удобряет гуано
мёртвую планету.

Вместо рецензии на НЛО № 62

Нет, не мутанты плотские,
где возможен ликбез –
скорей мультяшки плоские,
покемуны словес.

Уж лучше пусть раскормится
падкий к падали гриф...
Где племя незнакомое,
гунн какой или скиф?

Впадаю в летаргический –
а на смену кишит
сей антропологический
некий новый подвид.

Тинэйджер, что поллюцией
Интернет окропил, –
вершина эволюции?
Нет, скорее тупик.

Древнейшая профессия –
постпромискуитет.
Раз это всё поэзия –
значит, я не поэт.

Я нищий в нищей Родине.
Я итожу строфу.
И место в этом Ордене
не дают за фу-фу...

Постмодернизм. Басня

бараны цоб-цобэ
орёт отаре пастырь
я вывел вас из бездн
на правильную пажить

изыди сатана
ответно блеет стадо
у нас была страна
теперь её не стало

упершись взором вдаль
пастух не отвечает
жируют как всегда
волчары и овчарки



недостаёт травы
привычнодохнут дети
и главное правы
во всём и те и эти

престижная книжная ярмарка
прибой книгочеев извне
навскидку становится явственно
продажен твой труд или нет

потом в застеколии ящика
обсудят проблемы ботвы
писатели как настоящие
как люди живее живых

умно темпераментно злобненько
духовненько но без шизы
как в детстве выпиливать лобзиком
и лазить друг дружке в трусы

а книжки надменными кошками
эпохи пошедшей на слом
молчат о своём под обложками
за пыльным витринным стеклом

там в простосердечье божественном
неверному слову верна
потешная тень путешествует
чужая любым временам

накрывшийся бритвенным тазиком
гарцует на кляче худой
вольно в ослеплении Тассовом
тебе кабальеро седой

во славу безликого мелоса
блажить как голодный кошак
нечаянно встреченным мельницам
безвинные крылья круша

из чайничка из чайничка
течёт одно отчаянье
из водочного горлышка
переизбыток гордости

а мой талант просроченный
иным причудам следуя
как речка по песочечку
течёт к слиянью с Летою

то съёживаясь ёжиком
то растекаясь белочкой
он спесью неуёмною
как прежде не кобенится

немотствует неделями
башку закутав войлоком



не цацками нательными
но токмо тёмным воздухом

как в детстве согревается
и с будущим сливается

На мотив Экзюпери

Собаке, занозившей лапу –
не до еды.

Она глазами умоляет:
ну подойди,

приблизься, володей, откройся –
я вся Твоя!

Но зубы, ученые кровью –
закон зверья.

Утешив, потрепав загривок
и прикормив –
грешно отшвыривать брезгливо.
А меж людьми –

с начальной зверской сутью слита –
живёт в сердцах
всё та же тяга сателлита
к руке Творца.

И мириады звёзд, мигая
с пустых небес,

прирученные, требуют
любовь к себе.

А вдруг всё проще и печальней:
любовь страшна
Тому, Кто отдал изначально
Себя сполна?

Он с головой ушёл в искусство
домашних дел.
И на ладонях след укуса –
следы гвоздей.

Разучившись писать – становлюсь
страшен, как черепаха без панциря.
Звуки, что затвердил наизусть,
иссыкают из памяти.

Но зато, даже если смешон,
ковыляя остаток оставшийся,
каждый, пусть и неловкий, стишок –
небывалое нечто. И ставшее.



Юрий ЛОРЕС

Сергиев Посад

На Сергиев Посад уходят электрички,
торопится закат рождественского дня.
Все люди на земле мне братья и сестрички,
а смотрят на меня, как будто не родня.

Нас перепутал Бог, перемешал, рассеял:
кто избран, но не свят, кто грешен, но спасён.
Зимой спит земля и движется на север,
на Сергиев Посад, что снегом занесён.

Он снегом занесён, но так заносят в книгу,
что пишут на земле, читают в небесах,
чтобы поднять главу к Спасающему лику,
чтобы найти себя в Единственных глазах.

И будет тёплый дым над крышами в сугробах
и неземной уют земного бытия.
А я во всех грехах повинен, кроме злобы –
такую вот судьбу сложили Ты и я.

Помилуй меня, брат! Прости меня, сестричка!
Все падают года и тащат нас назад.
В рождественский закат уходит электричка
На Сергиев Посад, на Сергиев Посад.

Чёртово колесо

Крутит чёртик колесо
без оклада, без обеда.
Пыль дорожная в лицо –
люди едут, едут, едут
и спешат. В конце концов,
неужели не успеют?
Чёртик крутит колесо
всё быстрее и быстрее.

Шляпки, галстуки, пальто,
трубки, петли, сигареты...
Поменяли на авто
старомодные кареты.
Лишь влетается в висок
голубая паутинка.
Крутит чёртик колесо –
патефонную пластинку.

Но какой-то там вальсок
не подходит к ритму жизни.
Крутит чёртик колесо
часового механизма.



Полоса за полосой,
чехарда зимы и лета –
покатилась колесом
тихоходная планета.

И летят, летят в лицо
плач, улыбки, перепалки.
Чёртик крутит колесо
в каждом парке, в каждом парке.
А душа, в конце концов,
ни гроша уже не стоит.
Крутит чёртик колесо
человеческой истории.

Чтобы увидеть, как проистекают реки,
идём мы в сторону обратную потоку.
Берут свое начало человеки,
вступив на путь познания от подобного.
И этот мир пребудет многократно
посредством умноженья нашей скорби,
которой мы ещё немало скопим,
вступив на путь познания от обратного.

Вот дерево, вплетаясь в хоровод,
зелёной кроной на ветру играет.
Мы про живое говорим «живёт»,
сказав «живёт» про то, что умирает.
Не потому ль его название «растенье»?
Оно растёт, но движется туда,

назад к корням, где листья и труха,
куда ему не избежать паденья.

Оно растёт, преодолая страх,
не глядя вниз, где пузырится, бродит
его грядущий или прошлый прах
и в мёртвой растворяется природе.
Но где же связь, которая сшивает
обратное навеки естество?
Мы говорим, что мёртвое мертво.
Но не мертво оно, а оживает.

В сухую степь текущая река
какому голосу неведомому внемлет,
что, умирая, воспаряет в облака,
что, оживая, падает на землю,
что жизнь и смерть друг другу неизвестны,
что бытие суть из небытия?..
Когда сойдутся небо, ты и я,
родится человек или воскреснет?

Холодно

Холодно, брат мой, холодно...
Ветер в ночи злословит,
и не покрыты головы.
Инеем и золою
сеет в крошечной темени.
Где раздобуду дров я?
Страшное время – безвременье –
нас повязало кровью.



Холодно, брат мой, холодно.
В доме очаг потухший,
очи вьюгой исколоты,
заиндевели души.
В этой ненастной темени
выжили только тени,
тени без роду-племени,
имени и прощенья.

Холодно, брат мой, холодно.
Ставнями ветер хлопнет.
Туго мы знаем хлопотно
дело свое холопье.
Пеплом покрыты темени,
все сожжены поленья.
Будут – куда мы денемся? –
будут в крови колени.

Холодно, брат мой, холодно!
Рук не согреть руками.
Скоро потащат волоком
тело моё крюками.
Помнишь, как были молоды?
Не повернуть обратно.
Холодно, брат мой, холодно...
Холодно, холодно, враг мой!

СИМВОЛЫ

Вот символы, которыми живу:
и медный жук, и рыба золотая,

и птица та, что плач ночной и тайна,
похожая на спящую сову.

Египетское солнце катит жук,
и рыба чешуёю слышит звук,
из пепла возрождается сова,
чтоб прочесть халдейские слова.

А что в словах: ответ или вопрос?
В них утверждение или возражение?
Я – персть земная, неба отражение.
А небеса полны метаморфоз.

Жук станет скорпионом и орлом,
а рыба – лодкой с золотым веслом,
и полетит, то плача, то смеясь,
не птица, а крылатая змея.

Планет и звёзд я знаю имена:
Антарес, Регул, Альтаир, Эльриша.
Не только знаю, вижу я и слышу:
Плутон, Венера, Марс, Нептун, Луна.

Там птица со змеиной головой,
и рыба, закричавшая совой,
там в перьях скорпион, а у орла
два плавника, где быть должны крыла.

Ну, как мне это всё соединить?
Стоят деревья кронами в зените.
Я по земле брожу, как в лабиринте,
держа в руке оборванную нить.



Чёрный месяц на землю глядит,
пьяный ангел по небу летит.

Начинается снежная мгла,
он хромает на оба крыла.

Он над слякотью русских полей,
как подбитый летит воробей.

На земле всё погост да погост,
его с неба сдувает норд-ост.

Он бормочет: сейчас упаду!
Как фонарь обнимает звезду.

Он роняет слезу за слезой,
потому что повсюду чужой.

Непричесан, потрепан, помят,
как ни странно, по-прежнему свят.

Он в промозглой осенней ночи
причитает, рыдает, кричит.

А в ответ нет ни вздоха, ни эха.
Он вчера потерял человека.

Переселенье душ

От моего порога
до цирка шапито
железная дорога,
вокзальный кипяток.
Работаю ковёрным
и выхожу под туш.
По вечерам в гримёрной
переселенье душ.

Весь вечер на арене,
всю ночь на колесе.
С малиновым вареньем
пытаюсь быть как все.
Сижусь на чемодане,
а хочется под душ:
и в зале ожиданья
переселенье душ.

Все волосы в опилках,
хоть в сумасшедший дом.
Я – клоун, я – копилка
на столике твоём.
Лежи себе в сугробе
и голову не тужь,
когда в твоей утробе
переселенье душ.

Всё так, всё по закону
гуманному весьма.
Почтовому вагону



не выбросить письма.
Не будет исцеленья,
хоть трижды овдовей.
А душ переселенье
по комнате твоей.

СНЕЖОК

Я в ночь новогоднюю ранен в пальто
снежком прошлогоднего снега.
Мне в спину стреляли – неведомо кто,
а мне показалось, что с неба.

Куда же он метил, стрелявший никто?
Не в спину, а только в одежду.
Но в это мгновенье я понял: ничто
меня в этом мире не держит.

И медленно падал в ближайший сугроб,
стараясь казаться серьёзным.
И думал: зачем это пахнет укроп
колючим январским морозом.

Мне снилось, что я возвращался пешком
домой из неведомой дали.
И все же историю с этим снежком
мы с кем-то прекрасно сыграли.

Но где, наконец, затерялся мой дом?
Все тропки куда-то сбежали.

Я прошлую жизнь вспоминаю с трудом,
стучусь, открывают – не ждали?

В прихожей снимаю одежду со льдом –
конечно, валялся в сугробе.

И вижу пробитое насквозь пальто
и снежный комок между рёбер.

Лосиный остров

Неужто нет у сердца сердцевины,
где радость прячется, где кроется беда?
Земную жизнь пройдя до середины,
я оказался в парке у пруда,
где над водой туманная завеса
осенним утром в золотой исход.
Мне за деревьями пока не видно леса.
Лосиный остров. Девяностый год.

Я знаю, здесь меня никто не встретит.
Так сколько лет, скажи, обещанного ждут?
Лосиный остров. Девяносто третий.
Еще не лес, но листьев здесь не жгут.
На полпути чугунная ограда
и, оглянувшись, понимаешь вдруг:
помимо наших душ не существует ада.
Ведёт тропинка на трамвайный круг.

Лосиный остров без конца и края,
я семь кругов в тебе не сотворю.



В моей душе пока не видно рая,
и всё же я тебя благодарю:
за то, что снова золотом отмечен,
что глубока осенняя вода,
в конце концов, за то, что мне на плечи
небесной манной падают года.

Лосиный остров без конца и края,
и ты в осеннем вихре закружись.
Ну, подыграй мне! Видишь, я играю:
в который раз проигрываю жизнь
и сердце вывернул до самой сердцевины,
и мне дарован этот листопад.
Земную жизнь пройдя до середины,
я оглянулся и пошёл назад.

Про чудо

Я никогда не позабуду,
что в комнатёнке два на три,
пирог имеет форму чуда
и слой крыжовника внутри.
Его на улицу носили,
на всех друзей побольше кус.
Корицы дух и керосина
и необыкновенный вкус.

А чудо – славная посуда.
По чудотворцу ли почёт?

И керосинка – тоже чудо –
пускай коптит, но как печёт!
Нам было холодно и трудно.
Судьбу ли этим попрекать?
Хотелось праздника и, чудо
взяв у соседей напрокат,
пекла до ночи моя мама.
Вот будет радости на всех!
А вьюга выводила гаммы
и в щели набивала снег.

Я никогда не позабуду
моих друзей по именам,
что невозможно жить без чуда
нам ни в какие времена.

Ты веришь, друг мой, кроме шуток,
что век наступит золотой?
Из жизни вытеснено чудо
электро-газовой плитой,
исчезли лавки с керосином,
и начинаем привыкать,
что, как в те годы, в магазинах
сегодня чуда не сыскать.

А чудо – славная посуда!
Я знаю очень хорошо,
что нет штампованного чуда –
несотворённого душой.



ОКНО

А позади меня окно
отворено наполовину
печальным светом смотрит в спину,
как луч, сбежавший из кино.

И, оглянувшись, вижу: тень
зачем-то прячется за шторой.
Так неуютен дом, в котором
все счастья ждут, кому не лень.

А позади меня судьба.
Моя судьба или чужая?
Тревожным взглядом провожая,
сожмёт ладони возле лба.

Куда идти? Не всё ль равно,
в какие постучаться двери.
Я, не оглядываясь, верил,
что позади меня окно.

А позади меня луна
и ночь осенняя и сырость.
И тень в окне куда-то скрылась,
а на луне ещё видна.

Там свет погасят всё равно.
Как страшно прежде было это.

Теперь я знаю, что без света
лишь на мгновение темно.

КОНИ И ПТИЦЫ

1

Поскорее меня, матушка, прячь!
Видишь, небо непогодой кипит?
И за окнами то хохот, то плач,
А всего страшнее – топот копыт.

А всего страшнее топот копыт,
Он всё ближе, он почти за стеной,
Он подковами дорогу дробит,
И чужие люди едут за мной.

И чужие люди едут за мной
И по имени пытаются звать,
Увезут меня дорогой ночной –
Мне до времени их лиц не узнать.

Мне до времени их лиц не видеть,
Что стеклом оконным искажены.
Сядет дева перед свечкой гадать,
Станет тени отрывать от стены.

Станет тени отрывать от стены,
Крикнет по ветру напуганный грач.
А шаги уже за дверью слышны...
То ли дева, то ли матушка – спрячь!

То ли дева, то ли матушка – спрячь!
Это вовсе не со мной, не теперь...
Приближаются и хохот, и плач,
И скрипит, но открывается дверь.



2

И откроется дверь, и проникнет с полоскою света
То ли шепот и плач, то ли самый обычный сквозняк.
Крикну: «Кто там!» в проём, а потом в ожиданье ответа
Буду долго стоять, на дверной опираясь косяк.

Буду долго стоять, вспоминая внезапное слово.
Непривычно звучанье его, а значенье темно.
То ль грядущего знак, то ли тихое эхо былого,
Что минуло давно и тревожить меня не должно.

И не скоро пойму: это вовсе не слово, а птица.
Никогда не узнаю, что в доме ее привлекло.
Я открою окно, чтобы ей не позволить разбиться:
Птица может не знать, что меж нами и небом – стекло.

И она улетит и какое-то слово проплачет.
Захочу повторить, но выходит не так, не о том.
Прижимаясь к стеклу, я гадаю, что всё это значит:
Незнакомое слово и птица, влетевшие в дом.

3

Не пойму никак, чего мы ждём.
И глухая ночь, и снег с дождём,
И, куда ни глянь, мы не взаперти.
Значит, в самый раз время, чтоб уйти.

Не буди народ – пусть спокойно спит.
И пускай бокал будет недопит.
Ох, и славно мы погуляли здесь!
Не пристало нам ждать благую весть.

Погляди в окно: какая ночь!
Не найти следов, если выйти прочь.
Неба не видать, но, в конце концов,
Что за благодать – мокрый снег в лицо!

Ни в одном окне не горит огонь.
Где-то за углом ждет нас чёрный конь,
Лишь вскачи в седло, весело храпнёт
И одним прыжком землю оттолкнёт.

А пришпорь его – покажет злость,
Непогоды мрак пронизав насквозь.
Там за веком век, за верстой верста
Над потоком туч все горит звезда.

Вот и довелось побывать в гостях.
Не простились мы. Ну, и что? Пустяк!
Полон дом людей, шапок и пальто.
То, что мы ушли, не поймёт никто.

На даче

Славно осенью на даче
печь топить, глядеть в огонь
и, такая незадача,
пачкать сажею ладонь.
И, как знаки препинанья,
раздувая огоньки,
разгребать воспоминанья,
словно в печке угольки.



Пламя может возгореться –
знать бы только, что поджечь.
Для того, чтобы согреться,
все, что было, кинуть в печь.
Думать, вглядываясь в темень
через влажное стекло:
отчего бесценно время
только то, что истекло?

Оттого ли что личину
в прошлом можно выбирать,
путать следствие с причиной
и, к тому же, привирать?
Память столько накопила,
что вольно подумать так:
как прекрасно всё, что было,
важно что, не важно – как.

Видеть прошлое, любуясь
грудой камешков цветных,
ведь мозаику любую
можно выложить из них.
Если знаком препинанья
зло отлично от добра,
разбирать воспоминанья,
разве это не игра?

Неизбежность наших судеб
неизвестности лишать:
то, что было, с тем, что будет,
так легко перемешать.

Нет ни рано и ни поздно,
а всему своя пора.
Да, пожалуй, жизнь игра.
Разве это не серьезно?

Оттепель

Зимы начало. Оттепель –
Весны далекой стон.
Как будто выдох: вот тебе!
Ах, боже мой, за что?

На что нам пробуждение
Природы и любви,
Брожение и жжение,
И рвение в крови?

Что оттепель? Надолго ли
Дразнящий всплеск тепла?
Зеркальными осколками
Вонзится в лица мгла.

От снежных игл безжалостных,
От ветра и пурги
Глаза, глаза, пожалуйста,
И сердце береги!



Который век все тот же вид в окне:
Сухая ветвь, фонарь и перекрёсток.
И завывает ветер с перехлёстом,
С ночным смятеньем и с луной на дне.

И это все проходит сквозь меня,
Как будто я для времени прозрачен,
Как будто ночью вечною назначен
Стоять в окне, не разводя огня,

И видеть мир, не видящий меня,
Не видеть тех, кто тень мою заметит,
И, затаив дыханье, слушать ветер,
Ловить луну и дожидаться дня.

АВИНЬОН

Он шёл из Авиньона. В Авиньон
Я шёл ему навстречу.
И песни громко пели я и он –
И каждый на своем наречье.
И нечего делить нам было:
Ни почестей, ни славы.
И солнце в левый глаз ему светило,
А мне светило в правый.

Он шёл из Авиньона. В Авиньон
Я шёл ему навстречу,

Хотя я знал, что там, где правил он,
Мне после делать нечего.
И то, что я наивен был и пылок,
Ему было забавно.
Он левою рукой чесал затылок –
Я это делал правой.

Он шёл из Авиньона. В Авиньон
Я шёл ему навстречу.
Он разлюбил – я был ещё влюблен.
Он постарел – я был широкоплечим.
Я молод был. И денег не копил я.
Он упивался славой.
И то, что для него налево было,
То было для меня направо.

Он шёл из Авиньона. В Авиньон
Я шёл ему навстречу.
При встрече он отвесит мне поклон.
И я ему отвечу.

Человек

Больно тебе, будет больно тебе, человек,
больно всегда, когда в плоть твою – глину земли,
в ноздри твои будет душу вдыхать Саваоф
там, где исток четырёх омывающих рек...
Больно, но слушай и больше, чем слушай, внемли.
Слово приходит до слова, а голос вне слов.



Страшно тебе, будет страшно тебе, человек,
страшно всегда, пока плоть твоя будет дышать:
вдруг вместе с выдохом выдохнешь душу свою,
вдруг полетит она вниз от тебя, а не вверх.
Горе, коль некому будет тебя утешать.
Птицы по небу несут свои буквы на юг.

Вечные кольца летят в бесконечном кольце,
в центре младенец плывет в голубином яйце,
Духом Святым, открывающим Сына в Отце –
вот он проснется с улыбкой на светлом лице.

Что же, скажи, человек, было в жизни твоей?
Этот от страха тщетою заполненный век?
Эта дурманом на миг утоленная боль?
Тесно дыханию Божию в плоти твоей.
Больно и боязно мне за тебя, человек.
Кем же я стану, когда я не буду тобой?

Птицы отыщут исток омывающих рек.
Страшно тебе, человек? Приговор оглашён:
душу вдыхать Саваоф будет в ноздри твои –
больно тебе, будет больно тебе, человек.
Тот, кто не ведает страха, и Веры лишён.
Тот, кто не чувствует боли, не знает любви.

Вечные кольца летят в бесконечном кольце,
в центре младенец плывет в голубином яйце,
Духом Святым, открывающим Сына в Отце –
вот он проснется с улыбкой на светлом лице.

Время

Потому что время – точильный круг –
обращает в пыль не одни ножи...

Я тебе не враг, я тебе не друг.

Ну, а кто ты мне? Не томи, скажи.

Неужели нас кто-нибудь хранит,
обращая в прах не один гранит?

И глаза в глаза издали глядят,
а столкнёмся мы – искры полетят.

Потому что время – гончарный круг –
собирает пыль изо всех углов,

глину замесив не жалея рук,
не жалея рук и не тратя слов.

Неужели ты из погасших искр?

Неужели я из остывших брызг?

Велено прощать, суждено любить,
прилепили нас, что не разлепить.

Ходим мы кругами, глядим вокруг:

может быть, в другие сбежать края?

А, в конце концов, понимаешь вдруг:
время всё вернет на круги своя.

Кто кого точил? Кто кого лепил?

Кто кого предал? Кто кого любил?

Кто кому друзья? Кто кому враги?

Осень. Листопад. На воде круги...



Бог сотворил семьдесят два сюжета:
шесть на двенадцать, двадцать четыре на три.
Сколько бы ни было людей на земле –
на всех семьдесят два сюжета.
Не было на земле ни одного человека,
сюжеты жизни которого
достигали семидесяти двух.
«Кто я теперь? – Кастору говорит Полидевк, –
искупивший вину свою Каин,
а, может быть, Авель, вернувший бессмертие брату?»

Согласно представлениям Арнольда Тойнби,
которые, впрочем, вполне соответствуют Библии,
и этой же точки зрения придерживался Томас Манн:
люди сначала научились возделывать землю,
а несколько позже приручили животных,
потому что животные требуют более тонкой работы души.
Пастухам же часто приходилось смотреть на небо,
не только для того, чтобы предсказывать погоду,
но и по звёздам искать правильный путь на земле.
Пастухи-финикийцы достигли моря
и, построив лодки, стали пасти рыбу,
а потом поплыли открывать новые земли,
ориентируясь в море по звёздам так же, как пастухи в пустыне.
И точно так же измеряли они пространство:
с помощью времени – количеством дней пути.

Не означает ли это, что пространства не было
или было оно сколь угодно малым
и, стало быть, количество дней праотцев библейских
означает всего лишь то расстояние
от места рождения до места смерти,
которое проходили они, ориентируясь по звёздам,
и жили так долго
лишь для того, чтобы расширить Вселенную.

Колыбельная

Спи, мой ангел! Вечер поздний.
Поскорее засыпай.
В небо, в воду кто-то звёзды
Начал плавно высыпать,
Словно в две бездонных чаши,
Опрокинутых друг в друга.
Плыть и плыть в ковчеге нашем –
Мы повсюду в центре круга.

Можно вдаль глядеть до боли –
В глубине колодца тьма.
Беспредельность – это воля
Или, всё-таки, тюрьма?
Крепко наш ковчег сколочен,
Не потонет никогда.
Не заглядывай в колодец –
Всюду небо и вода.

Плыть и плыть нам, составляя
Душу с небом, воду с плотью.



Спи, мой ангел! Умоляю,
Не заглядывай в колодец,
В свой черед бросая семя,
Не ищи у бездны дна –
Там, отсчитывая время,
В воду капает вода.

Из Песни песней

А если эти волосы распустить,
она в них скроется вся,
словно в высокой-высокой траве
или в тени задремавших куш,
Её движение или ветра порыв
белую кожу на миг обнажит,
словно сквозь тучи солнечный луч
рассыплется бликами по воде.

Но если безветрие или покой,
то даже пятки не увидеть
под покрывалом её волос,
не то что бедра, живот, сосок.
Но, как сквозь тонкий китайский шёлк
или сквозь тени олив и агав,
будет тело её проступать,
если угадывать контур его.

И я подойду и, как будто траву,
плавным движеньем ладоней вовне,
чтоб не спугнуть осторожных птиц,
бесшумно раздвину пряди её.

И сразу зажмурюсь – столь яркий свет
бросит смеющееся лицо.
Пусть я зажмурюсь: давным-давно
я её вижу, закрыв глаза.

И прежде, чем прикоснуться к ней,
я буду долго её вдыхать.
Сначала запах лаванд и хвой
и запах масел земли Судан,
потом сквозь миро, орех, сандал
из глубины до меня дойдет
необъяснимый дух плоти её
и только после – запах души.

К ней прикоснуться, будто упасть
на разогретый прибрежный песок
или окунуться в морскую волну,
пряную, тёплую, как молоко,
или взлететь и сквозь Млечный путь
долго плутать раскаленной звездой,
чувствуя, как пульсирует кровь,
сердце спалив, превратившись в огонь.

И каждым атомом пульсу в такт,
словно травинка, что ветру в такт,
или песчинка – прибою в такт,
или луч света – Вселенной в такт.
У мироздания на весах,
как на качелях: добро – грех.
Звери, стоящие на часах,
завороженные, смотрят вверх.



Столиц империй дворцы – в пыль.
Великих лики, коснись – прах.

Явь сновидений, приснись бль.
Всесильный разум, очнись – крах.
Священным зверем тогда мог,
поскольку вечность равно миг.
На всю природу един Бог.
Двумя устами один крик.

Душа и тело

Вниз тянет тело, вверх – душа.
Тела с годами всё недужней,

Зато возвышеннее души,
Размах души и тела шаг.

И для того, чтоб их скрепить,
Мы половину жизни тратим.
Вторую половину – платим,
Чтоб их опять разъединить.

Содержание

НАЧАЛО

<i>Вопреки всему. От составителя</i>	5
--	---

МЕМОРИАЛ

Любовь Сухаревская. <i>От первого лица</i> (Памяти поэта-земляка Анатолия Преловского)	11
Анатолий Преловский	15

ПЕРЕКЛИЧКА

Анна Асеева	23
Екатерина Боярских	28
Алексей Гедзевич	37
Игорь Дронов	45
Сергей Жариков	51
Александр Журавский	55
Василий Костромин	62
Светлана Михеева	65
Артём Морс	70
Василий Орочон	74
Аркадий Перенов	78
Инга Седова	83
Андрей Семёнов	87
Любовь Сухаревская	90
Анна Чернигова	94



Максим Чуласов	98
Сергей Шаршов	103
Алексей Шманов	112
Кристина Эбауэр	116
Сергей Эпов	123

НОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Максим Амелин	133
Александр Кабанов	155
Бахыт Кенжеев.....	174
Виктор Куллэ	193
Юрий Лорес	215

ИРКУТСКОЕ ВРЕМЯ
Альманах поэзии
2009

Редактор
Игорь Дронов

Художник Сергей Григорьев
Вёрстка Елена Бер

Подписано в печать 3.02.2009. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Garamond. Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО Оперативная типография «На Чехова»
г. Иркутск, ул. Чехова, 10, тел. (3952)209-355